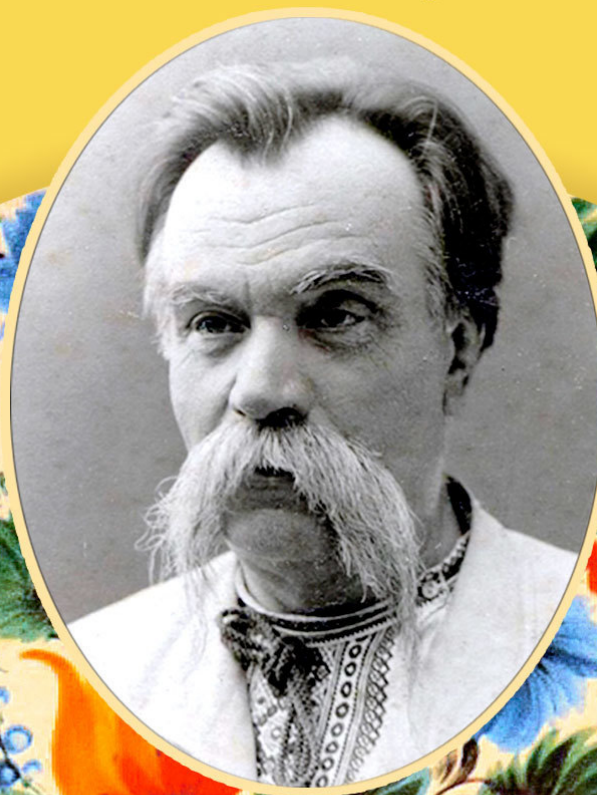


ШЕДЕВРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Михайло Старицький



МОЛОДОСТЬ
МАЗЕПЫ

ШЕДЕВРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Михайло Старицький

Молодость Мазепы

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Старицький М.

Молодость Мазепы / М. Старицький — «Мультимедийное издательство Стрельбицкого», — (ШЕДЕВРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

«Молодость Мазепы» Михайла Старицького – російськомовний історичний роман, в якому йдеться про молоді роки видатного державного діяча України***. Мазепа постає у Старицького мудрим і дипломатичним політиком. Найвідомішими творами автора є «Ой не ходи, Грицю», «Маруся Богуславка», «За двома зайцями», «Талан», «Облога Буші». Михайло Старицький увійшов в літературний процес як талановитий письменник, майстер соціально-психологічних та гумористичних творів

© Старицький М.
© Мультимедийное издательство
Стрельбицкого

Содержание

I	5
II	10
III	14
IV	19
V	23
VI	27
VII	31
VIII	35
IX	41
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Михайло Старицкий

МОЛОДОСТЬ МАЗЕПЫ

I

Далеко разлился синий, могучий Днепр, убежал он от сел и городов в дикую степь и разлился, разметался на ее широкой груди. Есть где разгуляться ему здесь, на необъятном просторе; к этим вольным берегам еще не подступала суетная, продажная жизнь. Синий Днепр, синее небо, жгучее солнце, степь зеленая, цветущая, безбрежная, как море вольная, как душа казака! Смотришь и не насмотришься! Степь да небо, небо да степь, и тонет взгляд в этой лазурной дали. Только кое-где «маячат», среди зеленого моря, высокие могилы, грустные памятники забытой потомками славы! Стоят они, одинокие и забытые, словно угрюмые старцы среди чуждых им юных людей. Тихо кругом, грустно кругом... Только степной орел подыметсся с могилы и, взмахнувши крылами, опишет широкий круг в воздухе и снова опустится на ее зеленую вершину.

Но что это стонет, что это ревет; что это бьется с грозным рычаньем о скалы? Дикий ли зверь, ветер ли вольный? Нет, нет!.. Это старый казацкий дед и оборонец могучий, грозный «Ненасытецкий порог».

Сколько хватит глаза, разлились широкие воды Днепра. Нет ни бури, ни ветра, но Днепр неспокоен. Река мчится, белые гребни взлетают на кипящих волнах. Куда же стремится с таким неудержимым напором эта масса воды? Туда – откуда уже издали доносится грозный и непрерывный ропот. Смотри! – Ты видишь там, на этой залитой солнцем блестящей водяной глади, мелкие черные точки? Это страшные, острые скалы. Они загораживают путь Днепру, они пересекают во всех местах его ложе, думая удержать Днепр на своем пути. Но кто удержит его? Нет и теперь такой силы! Чем ближе пороги, тем больше ревет и беснуется Днепр. Вот он уже подымает свою покрытую пеной голову, чтоб взглянуть, близок ли ненавистный враг? С каждым мгновеньем растет его ропот; расстояние все меньше и меньше... И вот столкнулись! С диким ревом и воплем налетает он на черную гряду скал, с тяжким грохотом падает вниз в кипящую бездну словно дикий, взвившийся на дыбы конь, снова взлетает зеленой стеной вверх и с развевающейся пеной опрокидывается всей грудью на ближайшие гряды. Еще раз... еще и еще... Все кипит, все стонет кругом. Нет уже больше реки, – бушует море клокочущей пеной. Ревет Днепр, сатанеет Днепр, стонет воздух от страшного рева, скалы дрожат, но не поддаются бешеным порывам. Но вот столкнулись волны, налетели одна на другую и закипело «Пекло»¹. Столбы воды, клочки пены полетели в воздух. Смерть, смерть тому, кто подумает приблизиться к этому страшному месту! Не кричи, не зови на помощь: твой голос не прорвется сквозь этот страшный грохот и рев. Но кругом и нет никого: только серые, прибрежные скалы гордо любят свою неукротимую стихией, да белые чайки, словно серебряные платочки, реют бесстрашно над ужасной пучиной и исчезают в лазурной выси.

О чем стонет и рыдает Днепр? Отчего бьется он с такой яростной болью о черные, острые скалы, отчего рвет в клочки свою седую чуприну, о чем стонет-кричит он старому «Будыло»²? О чем задумались мрачные серые скалы «Кичкаса»³? Отчего так угрюма и печальна Старая Хортица? Отчего стоит она такая мрачная и суровая даже в яркий солнечный день? Отчего плачет седой Лиман, припадая к родному Черному морю? Кто это знает, кто разберет их дикий

¹ «Пеклом» называется самое страшное место в Ненасытецком пороге.

² «Будыло» – следующий за Ненасытцем порог.

³ Третий порог.

и вольный язык? Одна только степь понимала его, когда ласкалась к старику вольною грудью, когда ее еще не бороздило железо... Теперь зеленая степь мертва и безмолвна: не разбудит ее удалая песнь запорожца, не оживят ее звуки труб и казацких литавр! Только ветер могучий носится по степи, такой же вольный и непокорный, как прежде... Подлетит он к одной могиле, пошепчется с ней тихо, и, грустно вздохнувши, помчится к другой...

Тихо кругом, грустно кругом.

Но ночью, когда за разорванные тучи спрячется месяц двурогий, оживает угрюмая Хортица и широкая степь. Какие-то седые тени выступают одна за другою, – это ряды вооруженных всадников: их лошади ступают бесшумно, выются беззвучно знамена. Откуда они вышли? Куда идут? Их лица суровы, печальны, их головы поникли на груди... Бедные тени, несчастные тени, что возмутило ваш вечный покой?

Но вот из-за туч выглянул месяц двурогий, ветер повеял – и исчезло все. Нет! Мертвые спят, могилы безмолвны... Это колеблется над Хортицею серый, холодный туман. День идет за днем, год уходит за годом, все умолкает, всему приходит конец. Только не умолкают донные могучие и грозные пороги.

О чем же стонет и рыдает Днепр? Отчего бьется он с такой яростной болью об острые черные скалы? Отчего рвет в клочки свою седую чуприну? О чем плачет, припадая к Черному морю, старый Лиман?

Слушай, у кого не покрылось холодной ржавчиной сердце, слушай и разумеи!

Длинный, летний день был уже на исходе. Бесконечно раскинувшаяся во все стороны степь начинала покрываться кое-где рубиновыми блестками. Ничто не нарушало величия ее необъятного простора: ни дерева, ни куста, ни признака человеческого жилища не видно было кругом, – всюду расстиралось только тихо волнующееся море цветов. Серебристая кашка, яркий золотоцвет, дикая гвоздика, белая ромашка, синие «волошки», розовая «повийка» – все это сливалось в какой-то необычайно яркий, прелестный ковер и даже закрывало собою высокую светлую траву, покрывавшую всю степь. Цветы, цветы и цветы! Всюду цветы дикие, прелестные, разросшиеся во всей своей красоте на воле. При каждом легком дыхании ветерка их слегка тронутые алыми лучами солнца головки приходили в движение, и тогда, казалось, – по всей степи пробегала какая-то веселая, но неуловимая человеческому уху, болтовня. Но степь и не была мертва: тысячи всевозможных пород птиц носились стаями в воздухе и оглашали его своими разнообразными криками. Все было вольно, прелестно и дико! Казалось, еще от самого сотворения мира здесь не ступала нога человека. Однако, если присмотреться внимательно, зоркий взгляд мог бы заметить издали прямо поднимающуюся к небу тоненькую струйку дыма.

Струйка эта выходила из неглубокой, но широкой балки, пересекавшей степь с южной стороны. По дну балки пробегала небольшая, но чистая и прозрачная речка, группа густых деревьев находилась недалеко от ее берега. Издали решительно нельзя было понять, откуда подымался этот дымок, но, спустившись в балку, путник с изумлением заметил бы дубняк, покрывавший примкнувшую к балке, вроде мисочки, котловину; между темной зеленою довольно высоких и разложистых дубов прятался и отливал яркой листвой молоденький вишневый садик, окружавший чистый и зажиточный дворик какого-то неведомого хозяина. Несмотря на уединенное положение маленькой усадьбы, она была в достаточной мере укреплена: высокий частокол из крупных, заостренных кверху дубовых бревен, с дубовыми воротами на крепких железных засовах, окружал кольцом это жилье. Все было сделано грубо, нескладно, но крепко и могло представить значительный оплот. Внутри же дворик совсем не имел такого грозного и воинственного вида. Небольшая хата с новой светлой крышей стояла в глубине двора. Окна ее были подмазаны синей краской, а вдоль «призьбы» выделялась щеголевато, старательно выведенная ярко-желтая полоса; от хаты тянулась к воротам протоптанная по зеленому двору между дубами и ясенями тропинка; направо и налево виднелись хозяйские постройки, а между ними стояли круглые зеленые стожки только что скошенного сена. Все

было так чисто, так хозяйственно в этой притаившейся в степи усадьбе, что в голову невольно приходил вопрос: кто же мог здесь жить, кому мог принадлежать этот прелестный уголок? Конечно, никто иной, как какой-нибудь старый, угрюмый запорожец, вышедший из Сечи на покой. Но веселый вид усадьбы не напоминал собою неприглядного «зымовныка», – всюду виднелось присутствие мягкой женской руки. Впрочем, наблюдателю в этот раз не пришлось бы и задумываться долго над решением подобного вопроса, так как за воротами двора, на длинной, обтесанной колоде сидели две премиленькие молоденькие девчины и ели сочные, только что начавшие созревать вишни. Одна из них смотрелась еще совсем полуребенком; на вид ей нельзя было дать и семнадцати лет. Она была среднего роста, не худая, но стройная и тонкая, как гибкий тростник. Ровный, блестящий пробор разделил ее русые, слегка волнистые волосы на две половины, их мягкие шелковистые пряди обрамляли изящно очерченное лицо, с нежными женственными чертами, главную прелесть которого составляли тонкие соболиные брови и большие карие, необычайно ласковые глаза. Они смотрели так доверчиво, так ласково, словно хотели обнять весь мир своим теплым, глубоким взглядом. Во всей фигуре девушки было что-то женственное, чистое. Даже когда она смеялась, какой-то легкий, едва уловимый отблеск задумчивой грусти не покидал ее глаз.

Подруга ее составляла полную ей противоположность. Смуглая, румяная, с вечно сверкающими из-за коралловых губ двумя рядами крепких, белых зубов, она воплощала в себе настоящий тип украинской девчины, живой, кокетливой и остроумной. Черная коса ее спускалась на спину, а голова была повязана по левобережному обычаю ярко-красным, узко сложенным платочком. Обе девчины были одеты в вышитые сорочки и крепко охватывающие их стан яркие плахты.

Солнце заходило прямо перед ними и освещенные его лучами отлогости балки казались огненными, горящими. Между девчатами шел оживленный разговор.

– Нет, ты не сердись... а тут такая скука, что хоть с ума сходи... ни песни, ни музыки, ни танца! «Людины» молодой не увидишь... Ей-Богу, – одни калеки, – говорила старшая, охвативши своей рукой плечи младшей и слегка раскачивая небольшими, загорелыми босыми ногами.

– Не знаю, как другим, а мне здесь «гарно», – возражала младшая, выбрасывая косточки из рта, – что ж, что калеки? А добрые какие! И Немота, и Безухий, и Шарпаньина... Я их так люблю! А они меня... Господи! Сколько гостинцев носят – и ягоду всякую, и «рогозу», и перепелиц... а то раз зайку принесли, такого «гарнесенького», и я выкормила... Ах, какой он был славный да забавный, как знал меня, – ел с рук.

– И ты одним зайком «задовольнилась»?

– Как зайком? – подняла с удивлением глаза свои Галина. – А коровы, а телята, а куры, а гуси, а голуби? Разве с ними не весело? Гуси, как увидят, растопырят крыла и «загелготять» радостно, бегут, подлетают, а им наперегонки куры... и так рады, так рады... и я рада им, и мне весело: всякую птицу знаю, какая жадная, какая драчливая... и заступлюсь за смирную... Э, они меня знают и любят.

– Так тебе в курах да гусях утеха?

– Ну! – протянула Галина обиженно, – я ж тебе про людей говорила... А баба, а дид? С ними так хорошо мне, так любо! Баба такие сказки рассказывает, и страшные, и всякие, что целую ночь «жахаешься», и все б слушала... Так это все представляется, будто сама была... так хорошо... А как дид начнет оповедать про лыцарство, про всякие «воювання»... так аж дух захватывает... и станет жалко, жалко! Сама бы лучше умерла, а чтоб их не мучили... А степь наша, – оживилась вдруг Галина, и глаза ее сверкнули детским восторгом, – то зеленая, то сизая, то червонная... волны шелковые стелются, а вдали марево играет: то святой Петро овцы гонит. Эх, легко так да просторно... вот как будто купаешься в ней и не накупаешься.

– Годи! Уж ты мне про степь и не говори! – раздражилась даже Орыся, – просто ненавижу... и на что тут смотреть! Куда оком не кинешь – ничего, хоть бы тебе «замаячыв» какой бес! Зелено, зелено, да и только! А зимою то, думаю, – пропала б, бей меня сила Божья, коли б не пропала! Вот у нас дело другое: кругом «гай», дубравы, левады, хутора, а вдаль горы... а под ними Днепр течет, синий, синий да широкий... не то, что ваша Саксаганка, – вся в «кушыру», да в «лататти».

– Орысю! Не лай моей степи и моей речки, не «гудь» их, – заговорила огорченным голосом Галина, и личико ее приняло трогательное выражение. – Я так их люблю. Может быть, там и у тебя добре, а по мне, так я лучшего б, как здесь, и не хотела.

– Так бы, значит, и просидела б тут печерицей весь век?

– Бог с тобой, – насупилась Галина, опустив полные слез глаза.

– Не сердись, моя ягодо! – обняла ее горячо Орыся. – Я ведь обидеть тебя не хотела, а так «занудылась» здесь, стосковалась, за своими стосковалась, понимаешь, – так мне и досадно, может оттого и степь твоя надоскучила, – рассмеялась она и начала трясти за плечо Галину. – Ну, скажи по правде, разве тебя не тянет поехать куда, свет Божий увидеть, музыку послушать, с парубками поиграть, «пожартовать»?

– А как же меня может тянуть, коли я никогда того и не видела, – ответила просто Галина.

– Как так? – изумилась в свою очередь Орыся.

– А так: дид редко ездит по ту сторону за Днепр и меня с собой не берет.

– Что ж, он сам закопался, да и тебя от людей прячет?.. От того его, верно, и прозвали Сычом?

– Нет, не от того: дид говорил, что он и ночью мог высмотреть врага добре... А сначала дид был звонарем.

– Значит, ты остаешься одна и не боишься?

– Ото б? На тот «час» к нам приезжает кто-нибудь из казаков с Сичи... А прежде был дядько Богун. Такой добрый, ласковый... Гостинцы мне возил... Только давно, давно уже не был, я еще «пидлитком» была, – вздохнула грустно Галина и задумалась.

– Может быть умер, или убит. Теперь ведь у нас, коли дожил до вечера, так и «дякуй» Бога. К смерти, как к тетке, привыкли.

– Что ты? – всплеснула руками Галина и остановила на подруге испуганные глаза.

– Эх, не страшись, – успокоила ее Орыся. – Дай-ка лучше вишен... Чего ты не ешь? – встряхнула она хусточку, в которой еще были пригоршни две-три светло-красных ягод.

– Кислые еще.

– А я кислое люблю, – сказала Орыся. – Как зажмуришь очи, так Киев увидишь. Ну, а ты давно живешь здесь?

– И не помню, когда мы приехали сюда из Чигирина...

– Отчего же вы покинули его и перебрались в дику степь?

– Видишь ли, когда мой батько и мать умерли, дид не захотел больше в городе жить, продал все, забрал меня, да и уехал от всех в дику степь.

– А ты помнишь своего батька и мать?

– Нет, – произнесла с легким вздохом Галина и какая-то прозрачная тень печали упала на ее прелестное личико.

Обе подруги замолчали.

– А знаешь, Орысю, – заговорила вдруг оживленно Галина, подымая на подругу свои загоревшиеся внутренним светом глаза, – знаешь, когда никого нет, и я остаюсь одна, мне кажется иногда, что я их вижу, как видела когда-то... Батько такой красивый, статный казак и меня «гойдает» на руках и мать будто обвиняла его руками за шею и сама смотрит так ласково, ласково и на него, и на меня. Только нет! – вздохнула она снова печально и опустила глаза, – это верно мне снится, дид говорит, что я не могу их помнить.

– Давно умерли?

– Я тогда еще совсем маленькая была.

Девушки замолчали.

– Твой батько был знаменитый казак, – произнесла после короткой паузы Орыся, – я слышала, как про него и бандуристы песни поют. Да и дед твой тоже. Батько мой часто рассказывает про то, как казаки при гетмане Богдане Хмельницком от ляхов отбивались и край свой спасли, и говорит, что твой батько у гетмана Богдана самым любимым полковником был.

– Да, да! – вспыхнула вся Галина и заговорила звонким, оживленным голосом. – Дед мне тоже всегда про те времена говорит, и про батька рассказывает, и думу про него поет. А как запоем «Ой Морозе, Морозенку, преславный козаче, ой по тоби, Морозенку, вся Украина плаче», – так сам и плачет, да сейчас и говорит: «Ох, добре ты, Олексю, (это он так моего батька называет) зробив, що в свій час умер». А мать моя, знаешь, тоже сейчас после батька умерла. Как привезли его гроб, «червоною кытайкою» покрытый, она как упала на него, – говорит дид, – так всю ночь и пролежала, утром встала – седая вся. Так она не плакала, только повторяла: «Олекса мой умер, как славный казак!» А как схоронили его, так и она через «тыждень» умерла. Не могла жить без него, видишь, дид говорит – «любылысь дуже»...

II

– «Любылись дуже», – повторила за Галею машинально Орыся и почему-то вздохнула, ее быстрые глаза приняли вдруг задумчивое и нежное выражение, – а ты, Галина, – произнесла она тихим голосом, привлекая к себе на грудь голову подруги, – ты кохаешь кого-нибудь?

– Еще бы! – произнесла живо Галя, – дида, дядька Богуна, бабу, Немоту, Безуха!

– Ну, это все старые, а из молодых?

– Тебя люблю! – вскрикнула порывисто Галина и обвила руками шею своей подруги. Орыся невольно улыбнулась.

– Ах, ты, смешная какая. Я ж дивчина! Я спрашиваю, из казаков нравится ли тебе кто? Ведь к вам наезжают запорожцы?

– Ох, нет, Орысю! Я их боюсь, – страшные такие.

– Страшные! – перебила ее Орыся и воскликнула с восторгом, – славные лыцари, храбрые «воякы»!

– Да, да, я знаю, что оборонцы наши, – заговорила торопливо Галина, слегка смутившись от Орысиных слов, – я знаю, что они «боронять» нашу веру, что они освобождают невольников, а все-таки их боюсь: они страшные, грозные такие, чуть что, сейчас хватаются за сабли, раз даже «порубались» у нас. Когда они приезжают, я сейчас прячусь.

– Эх! – махнула досадливо рукой Орыся, – затвердила свое:

«страшные, за сабли хватаются», а ты что хотела, чтоб они за веретена или за иголку хватались? Тоже казачка! – бросила она на Галину сверкающий взгляд. – Тебе, может, какого-нибудь «крамаря» или «ченця» надо было б! Казаку за то и слава, что он смелый, бесстрашный, что он готов один со своей саблей против всех своих врагов выступать. Вот только нехорошо, что не всех стали пускать в казаки! Правда, они на вид и кажутся грубыми, не умеют нежных слов ворковать, зато уж если любят, так всей душой! – окончила как-то слишком горячо раскрасневшаяся Орыся. Галина с изумлением смотрела на нее.

– А ты почем знаешь? – спросила она, устремляя на подругу любопытный взгляд.

Этот простой вопрос привел Орысю в необычайное смущение; она покрылась вдруг до самых ушей и шеи яркой краской и, отвернувшись в сторону, произнесла как-то сконфуженно:

– Да разве я в чернычки, что ли, пошла... видела... знаю...

Обе девушки замолчали.

Галина с удивлением посмотрела на подругу, готовая задать ей еще более любопытный вопрос, но в это время в полуоткрытых воротах появилась старая, сморщенная баба с головой, заверченной в белую намитку.

– А что, сороки мои, цокотухи мои, – обратилась она приветливо к обеим девушкам, – что делаете?

– Да вот я рассказывала Галине, – заговорила Орыся, – о парубках, о дивчатах, о селах, городах, о церквах, об вечерныцях.

– Ох-ох-ох! – вздохнула старуха, подпирая щеку рукой, – ничего этого голубка наша не видела! Живет здесь с нами, и света Божьего не видит. А сколько раз уж говорила я старому: повези дытыну хоть к отцу Григорию, к батюшке твоему, – пояснила она Орысе, – так где там! И слушать не хочет!

– А почему, бабуся, дид не хочет меня везти? – изумилась Галина.

– Боится.

– Чего?

– А вот, видишь ли, когда мать твоя покойная была жива, много, много перенесла она горя через одного пана! Украл он ее и увез так далеко, что она едва-едва убежала. Так вот дид боится, чтоб и тебя какой-нибудь пан не увез.

– Ха-ха-ха! – рассмеялась звонко Галина, – да зачем бы он увозил меня? На что я ему? Это восклицание было сделано так искренне, что баба и Орыся невольно рассмеялись.

– Ах ты, квиточка моя степовая, – произнесла старуха с улыбкой, нежно прижимая головку девчины к своей груди, – ничего-то ты еще не знаешь и не ведаешь!.. А где это наши так «забарылысь», – подняла она через минуту голову, всматриваясь вдаль, – уже и солнце прячется, и вечера готова, а их все нет!

Все примолкли и стали прислушиваться.

– Идут, идут! – вскрикнула вдруг первая Галина, – вон и дид песню поет, а вон и наши «ланцюжныкы» повылазили и машут хвостами.

Действительно издали донесся звук старческого голоса, распевавшего какую-то казацкую песню.

Голос приближался все больше и больше, вслед за ним послышалось ржание лошади и мычанье коров. Через несколько минут с западной стороны показались две человеческие фигуры.

– Наши, наши! – закричала радостно Галина, – а ну-ка, Орысю, давай открывать ворота! Девушки быстро схватились с мест; тяжелые ворота заскрипели и распахнулись.

– Ну, ну, встречайте, а я пойду, да приготовлю вечерю, – улыбнулась девчатам баба и направилась, слегка прихрамывая, в глубину двора.

Шествие приближалось. Впереди всех бежала с громким лаем большая мохнатая собака из породы волкодавов, за нею выступало двое могучих, плечистых мужчин. Одному из них было лет шестьдесят, не меньше; с вершины его выбритой, по запорожскому обычаю, головы спускался солидный, белый, как серебро, «оселедец» и молодцевато закручивался за ухо, такие же густые и длинные седые усы спускались на грудь его и придавали его наружности важный и величавый вид. Несмотря на седину, он выглядел еще вполне здоровым и чрезвычайно крепким человеком. Другой сразу поражал своим ужасным калечеством. У него не было левой руки, правой ноги и обеих ушей; он ковылял на деревяшке, опираясь на костыль.

Увидевши Галину, стоявшую в воротах, бежавшая впереди собака бросилась к ней с громким радостным лаем и стала прыгать и бросаться к девчине на грудь, стараясь лизнуть ее личико своим огромным красным языком.

– Ну-ну, Кудлай, – отбивалась от его шумных ласк Галина, – ты повалишь меня, ты повалишь меня, мохнатый дурень...

Но Кудлай не унимался: он терся у ее ног, старался повалить девчину, прыгал ей передними лапами на грудь, – словом, старался всеми возможными способами проявить свой восторг. Наконец, порешивши, что чувства его были излиты и оценены в достаточной мере, он оставил девчину, выбежал на середину двора и, забросивши высоко голову, издал громкий, радостный лай, словно желал сообщить всем, что работы окончены, и все работники благополучно возвратились домой. Исполнивши эту обязанность, он подбежал к «ланцюжным» псам и начал с ними весело, по-братски, кататься по зеленому двору.

Освободившись от Кудлая, Галина бросилась к входившему в ворота старику с седым «оселедцем».

– Диду, диду, – закричала она весело, обвивая шею старика руками, – отчего так «забарылысь»?

– Доканчивали полосу, голубочка! – отвечал старик, нежно целуя прижавшуюся к нему русую головку.

– А мы уж думали, не напал ли на вас какой татарин?

– Го-го! – сверкнул глазами старик, выпрямляясь и грозно потрясая косой, – пускай бы только навернулся косоглазый, мы бы ему задали чосу! Так ли, брате? – обратился он к своему спутнику.

– А так, так! – Привели бы его сюда на аркане! – ответил тот, забрасывая косу деда на «стриху» хаты и опускаясь на «прызбу».

– Ну, и натомился я, дети, – расправил плечи старик, – так намахался косой, как другой раз, бывало, саблей в Сичи не намашешься. Вот только правая рука не так теперь служит; много ли накосил; а плеча не чую. А есть то так хочется, что хоть целого вола подавай!.. Не вредительна пища в благовремени.

– Сейчас, сейчас!

И Галина с Орысей бросились помогать бабе собирать вечерю, а дед Сыч опустился на «прызбу».

Тем временем в ворота вошли с радостным мычаньем коровы, вола и две лошади, весь остальной табун ночевал в степи. Вслед за ними вошли двое рабочих. Ворота заперли, засунули тяжелые засовы. Поручивши девочкам подавать вечерю, баба вынесла дойницу и принялась доить коров.

В ожидании ужина все притихли, каждый погрузился в свои думы. Во дворе улеглась суета; слышалось только слабое журчанье сцеживаемого в дойницу молока.

Наступила тихая минута. Солнце уже скрылось, мягкие тени закрыли весь двор; в голубом небе сверкнула робко первая звездочка; со степи веяло нежным ароматом... Час вечернего отдыха подкрадывался незаметно к заброшенному уголку. Дед охватил рукою проходившую мимо Галину и, притянувши ее к себе, о чем-то глубоко задумался...

Казалось и все кругом во всей природе занемело и притихло в ожидании желанного покоя...

Вдруг среди полной тишины послышался явственно издали частый и поспешный конский топот. Собаки залаяли. Все вздрогнули и переглянулись.

– Чужие, – прошептал дед, поднимаясь тревожно.

При раздавшемся стуке копыт, две девочки бросились друг к другу и, схватившись за руки, насторожились, как две газели, готовые унести при первой опасности.

– Коли что, так в «льох», под колоду, – заметил им дед, направляясь к воротам, – да стойте, – кажись, не татары; собаки не так брешут, не с подвоем.

Собаки действительно рвались на цепях и прыгали в разные стороны со страшным лаем, зачуяв чужих, но выть при этом не выли. На лай прибежал рабочий, в белой сорочке и таких же штанах, стянутых ремнем, на котором висел длинный кинжал, с вилами в левой руке и топором в правой. Рабочий был атлетического сложения, обнаружившего необычайную силу; не старое еще бронзового цвета лицо его можно было бы назвать даже красивым, если бы его не уродовали страшные шрамы; в лице этом было особенное сосредоточенное выражение, свойственное глухим или немым. Он догнал у ворот деда.

– А ты бы, Немото, захватил на всякий случай и «спыс», – бросил ему Сыч на ходу.

– Ги! ги! го-го! – промычал как-то странно рабочий, потрясая вилами и топором.

– Ну, ну! – согласился на его энергичные жесты дед и, стукнув клинком сабли в ворота, крикнул, – а кого Бог несет?

– Пугу! Пугу! – послышалось из-за ворот.

– Казак с Лугу?

– Он самый, любый дяче!

– Хе, да это свои, да еще знакомые видно, – обрадовался Сыч, – войдите с миром! – и он отсунул у ворот засов, а наймыт поторопился растворить их гостеприимно. На широкий, заросший редкими дубами двор въехали на взмыленных конях четверо всадников-казаков, с высокими копытами у стремян и с мушкетами за плечами; у каждого из них висело кроме того у левого бока по сабле, а за широкими поясами торчало по паре «пистоли». Первый въехавший казак был пожилых лет; в «оселедци» его, закрученном ухарски за ухо, пестрели уже серебряные нити, а усы были посыпаны снегом; красивое, мужественное лицо хранило еще непо-

блекшую свежесть; только между энергично очерченных бровей лежала уже глубокая складка, свидетельствующая о пережитых душевных страданиях, а грустное выражение глаз обнаруживало, что страдания сроднились и срослись с ним совсем. Три остальных спутника были помоложе: один, совершенный юнец с едва пробивающимся на верхней губе черным пушком, с орлиным, выдающимся на худом оливковом лице носом, с огненными глазами, оттененными широкою, черною, сросшеюся на переносье бровью и с черной же чуприной; черты лица его были резки и дышали дикой отвагой.

Два остальных казака были средних лет, типичные запорожцы; у одного левый глаз был выбит очевидно пулей, так как у переносья виднелся круглый, рубцеватый шрам.

III

Сумерки, особенно среди высоких деревьев, уже сильно сгустились и не позволяли Сычу разглядеть приближавшуюся к нему фигуру; он только хмурился, приставивши козырьком ладонь к глазам, и ворчал:

– От, «слипують» очи, хоть выколи!

– Да что же это? Не узнаешь таки меня, друже мой Сыче?

– Воскликнул мягким, приятным голосом старший казак, распростерши широко руки.

– Господи, Спасе мой! Да неужто! – и дед протер еще раз слезящиеся глаза.

– Гай, гай, голубе! – укорил незнакомец, обнимая оторопевшего деда. – Значит, ты все-таки меня не признал, – либо прошлое забыл, – либо похоронил меня рано... Да Богун же, Богун Иван, «сывый» мой орле?

– Богун? – вскрикнул восторженно дед. – Сокол наш? Отрада наша? Вот так «великдень»! – и, взявши в обе руки голову старого друга, стал порывисто целовать ее, приговаривая взволнованным голосом, – откуда мне сие? Ныне отпускаеши...

– Не познал таки, а? Старче мой любый! – говорил, улыбаясь, Богун. – Изменился, видно, и здорово? С временем, брат, ничего не поделаешь: не «налыгаеш» его, как вола за рога: летит себе и устали не ведает, да знай лишь посыпает «чупрыны» морозом... Вот и твою голову да усы облило молоком...

– Хе, давно уже, – засмеялся Сыч, – теперь уже не белеть я стал, а желтеть... а скоро зеленеть буду... Да что же мы стоим? До «господы» прошу «честное товариство»! – поклонился он приветливо стоявшим за Богуном казакам.

– А я-то хорош, – засмеялся Богун, – разболтался со старым приятелем и не знакомлю с ним своих товарищей! Вот этот малеванный – полковник Ханенко, козарлюга добрый, как долбанет «спысом», так словно шилом проймет, а вот этот Безокий – наш куренной атаман, садит пулю на пулю... Правда, одна пуля вражья прохватила сдуру и ему око, та дарма, – он и другим лучше нас высмотрит сердце ворожье... А этот юнец – хорунжий Палий, завзятый сичовик, козарлюгой будет, – «молоде, та горяче».

Сыч каждого из представленных обнимал и приговаривал:

– Роди, Боже, побольше такого лыцарства!

Безокий долго присматривался к хозяину, а потом, рассмеявшись, заметил:

– Хе, пане господарю, изменило, видно, меня калечество, что не признал старого знакомого, а ведь мы встречались и в Сичи, да и здесь на хуторе.

– Кто? кто? стой, брате! – заволновался дед и, нагнувшись близко к лицу казака, вскрикнул, – да, чи не любый ли лях мой, не Остап ли Гуляницкий?

– Он самый и есть, пане добродию. И казак, в свою очередь, обнял деда. Все направились к хате. Дед от радости суетился, теряясь и путаясь в приказаниях.

– Гей! – кричал он наймыту, – овса, а то и пшеницы насыпь коням, да расседлай их, а на ночь стреножь и выпусти на леваду: там добрый пырей... Да гукни еще на дивчат, – попрятались верно с переполоху, – скажи им, что не мосцивые паны, не татары, а свои, да еще какие свои – кровные, братья родные! Галине скажи, что дядько любый Богун: обрадуется она страх, – суетился и делал распоряжения дед, забывая, что не все их мог выполнить Немога, – пускай баба готовит вечерю, а дивчата пусть тащут сюда кухни, да наточат в жбан холодного пива; с дороги, да с засухи сначала след прополоскать горло.

– Гм! го-а! – промычал наймыт, жестикулируя усердно.

– Что он, немой? – спросил Ханенко.

– Потоцкого «жарты», – ответил, мотнув головой, дед. Все нахмурились и уставились в землю глазами.

– Ну, просим же вас, панове, до «господы», – припрашивал снова дорогих своих гостей радушно хозяин, показывая на низенькую хату, окутанную терном и вишняком, – а то, может быть, усядемся вон под теми деревьями на прохладе, – вечер чудесный.

– Где хочешь, мой друже, – отозвался Богун, – только не хлопочи очень и не уходи: ты сам нам «найлюбшый». Ведь это же он, братцы, первый начал языком от звона гладить панов.

– Ха, ха, ха! Знаем! – засмеялись дружно товарищи.

Через несколько минут был раскинут на лужайке под дубняком ковер, и на нем брошено пять сафьянных подушек, а посередине стоял уже жбан с холодным черным пивом и несколько увесистых кухлей. На дубе был подвешен фонарь. Гости расселись по-турецки вокруг и принялись с наслаждением за освежительный напиток.

– Эх, важно! – крикнул Богун, наливая себе второй кухоль.

– Чего лучше, после «спекы», – одобрили другие.

– Пейте во здравие, – потчевал всех радушно хозяин, – натомились верно, друзи? Давно в дороге?

– Да, третий день не слазим с коня, – ответил Богун, – как «рушылы» с Хортицы, да вот только здесь по-людски отпочить доведется: это я их направил в логовище славного нашего дяка Сыча, а сколько лет самому не доводилось завертывать сюда; едва, едва потрапил.

– Почитай, что со смерти нашего славного, «незабутнього» батька Богдана...

– Что ты, голубь? – изумился Богун. – Да ты поселился здесь года три спустя после смерти Богдана, а сколько лет потом я ездил сюда и сам, и с «товариством»?

– Так, так, что я? – усмехнулся Сыч, покачав головой. – Не то память стала стара, не то пришибла ее наша «туга», а сколько воды уплыло, сколько слез, ох, ох! – простонал он, а потом, чтобы перемочь набежавшую грусть, обратился к куренному Гуляницкому, – а тебе, лыцарю мой, ляше хороший, великое, щырое спасибо за ласку, что завернул с моим другом единым и с «товариством» славным в курень мой; ведь большей радости я и придумать не мог бы... Давно уже я поселился здесь среди бесконечной степи, как в келье, отшельником и ко мне, особенно в последнее время, почти не долетают вести, что творится у нас на гетманщине.

– Благую часть избрал еси, друже мой любый, – отозвался Богун, – с Богом лишь под небом широким беседовать, а про людей забыть... «Цур» им! Добра от них не дождешься, а одно лишь зло сеют кругом.

– Да, – заметил куренной, – не то думал покойный Богдан: не гадал он разорвать надвое свою дорогую «неньку» Украину, а вот «розпанахалы» благодетели, и кости-то его, полагаю, не лежат спокойно в могиле.

– Ха! ха! – засмеялся злорадно Ханенко, в выражении его красивого, несколько панского лица, с синими, бегающими глазами, было что-то неуловимо-неприятное, выступавшее резче при смехе. – Где им спокойно лежать, коли Чарнецкий в прошлом году налетел на Субботов, разрушил церковь, выкопал гетманский прах из могилы и разбросал останки собакам...

– Изверг, аспид! – вскрикнул, поднявши кулак, дед. – И такое святотатство казаки попустили? И не отомстили этому пекельному псу за своего батька?

– Не довелось встретиться, уж я бы! – вспыхнул Палий и покраснел весь.

– Отомстил уже ему Бог! – ответил Безокий. – А уж подлинно, что такого зверя, как Чарнецкий, и не слыхано, и не видано! Бывшие земляки мои кичатся им, считают его за доблестного полководца, за славу свою... а мне даже стыдно за них: не доблесть, а бешеная лютость окрыляла его на поле... ведь пощады от него не было никому, – ни вооруженному, ни безоружному, ни дитяти, ни старцу: все, что было русское, а главное, схизматское, он ненавидел и истреблял. И всю-то эту злобу вдохнули ему ксендзы-иезуиты... Эх, если б не их отравы, какой бы это народ был, поляки, как бы мирно мы жили и какую бы силу сплотили!

– Да, уж наверное более крепкую, чем теперь, – вставил угрюмо Ханенко, – были ведь в одних тисках, а очутились в трех.

– Как в трех? Что-то я и в толк не возьму, – развел руками дед, печально покачав головою.

– Да разве ты ничего про наше теперешнее безголовье не знаешь? – изумился Богун.

– Знаю только, что со смерти Богдана, булаву, по просьбе его, вручили маловозрастному сыну его Юрку, под опекою Ивана Выговского, а потом этот «недоляшок» захватил все в свои руки... Поднялась смута, братская резня и Хмельниченка постригли в монахи.

– Выговский-то не так и виноват, – заступился за бывшего гетмана Гуляницкий, – думал-то он добре, добра желал «щиро» своей отчизне.

– Еще бы не добра! – перебил горячо Ханенко. – Прочитай Гадячские пункты, чего-чего он нам в них не выговаривал? И полные права, и господство греческой веры, и шляхетство, и равенство на сейме, и свои войска, свои русские академии, школы, своя монета, полная независимость, даже сношения с чужими державами... одним словом – своя русская Речь Посполитая.

– Своя, да под ляшским ярмом, – возразил Богун. – А разве с ним можно ходить? Разве можно на панское слово положиться спокойно? Изверились, – и народ на эту утку не пойдет, не заманишь! С ляхом дружи, а камень за пазухой держи!

– Ну, посмотрим, не подавятся ли теперь. И камень не поможет! – прищурил глаза злобно Ханенко.

– Это, как Бог судил, – ответил Богун, – а сердце ляшское, как вот он добре сказал, отравлено ксендзами и налито к нам ненавистью.

– Не так ляшское, как панское, – поправил куренный, – простые ляхи – такие же несчастные невольники у панов, как и наше «поспольство», не даром же при Богдане требовало наше казачество и голота идти в самую Польшу и «вызвolyать» из неволи ляхов...

– Да, оно так, – согласился Богун, – но у нас, на Украине, народ только знает ляхов-панов, да подпанков, и с этими ненавистниками да напастниками он ни за что не уживется... Это вот и забыл пан Выговский, а потому его договор и вызвал тотчас же кровавую смуту.

– Так, так, вот в это самое время, – заговорил задумчиво, словно про себя, дед, – и мне довелось быть на Украине... и от родной, братской руки потерять вот эту «правыцю»... Меня ведь так «цокнув» свой же брат, что до кости прохватил, жилы пересек... рана-то зажила, засохла, как на собаке, а владеть рукой уже «годи»... – уже и «лантуха» с зерном одной этой не вскину на плечи... Потому-то товариство и уволило меня на покой, а тут еще горе приключилось, свое уже горе, домашнее... Так я с сироткой и оселся вот в этой пустыне, «ничего не слышаща и не зряща». Вот только разве кто завернет, да про Выговского слово закинет...

– Гай, гай, старый! – укорил Богун. – Да неужто про Выговского? Да он давно уже от гетманства отказался, его уже и на свете «нема»! А про Бруховецкого тебе ничего не рассказывали?

– Что-то слыхал про него... на левом берегу, только не вспомню...

– И про Тетерю не знаешь?

– Тетерю? Как не знать Тетери, – оживился дед, – знаю, «гаразд» знаю: он же был первым есаулом у Богдана, даже советником, только не добрым, а потом женился на его дочке, на Елене, что была замужем за братом Выговского, значит, вдову взял... и с добрыми «скарбами» еще взял... Как Тетери не знать, – zelo добре знаю!

– Ну, так вот эта лиса был у нас гетманом.

– Что ты? – уставился глазами на Богуна дед.

– Да он-таки, братцы, голубь мой сивый, – улыбнулся Богун, – стал как «дытына» и ничего не знает про «завирюху», какая поднялась на Украине и до сих пор метет, закидывает сугробами хутора и села, леденит всем сердца. – Слушай же, старче Божий! – начал Богун, налив себе снова «кухоль» холодного пива, а дед поспешил между тем наполнить «кухли» гостям.

– Как отказался от гетманства Выговский, то собралась «Черная рада»⁴ и выбрала гетманом Сомка, да стал против него на левой стороне Бруховецкий, объявил себя тоже гетманом и пошел на Сомка... захватил врасплох, сковал, послал в Москву, а там его и казнили, ну а Бруховецкого на гетманстве утвердили.

– Еще бы не утвердить, – прошипел Ханенко, – коли он поклялся Москве все права наши сломать, ударил ей в подданство всеми городами, все продал, и будь я вражий сын, коли в конце концов не продаст и самой Москвы!

– «Запроданец» клятый! Ух, как все его ненавидят и презирают! – не выдержал снова Палий, но сейчас же, сконфузившись, замолчал.

– И есть за что, – продолжал Богун. – Когда объявился на левой стороне Бруховецкий, так полки поставили на правой Тетерю! Ну, сначала и я пристал к нему; думка была, что он, как и покойный Богдан, стоит за нераздельность Украины, за соединение ее в одну «купу». Бросились мы со своими и с польскими войсками за Днепр; не так, впрочем, их оружию, как моему слову, стали сдаваться все города и местечки... Бруховецкий, видишь, когда ездил на утверждение в Москву, так там и женился на княжне Долгорукой, закупил всех и задурил: начал в Москве предлагать со своей генеральной старшиной такое, чего и в ум не входило царской думе: чтобы вот русских семейств тысяч три, четыре переселить в Московщину, а московитян столько же тысяч переселить сюда, да чтобы во всех городах поселить воевод царских с ратными людьми... Затем переписи...

– Ах, он христопродавец, Иуда! – заволновался дед, тряся головой и руками. – Да слыханное ли дело, чтобы такое было предательство! Да ведь мы все, с покон веку равны и земля Господом Богом всем нам дана... Да ведь из-за этой самой земли, да из-за вольности, да из-за веры и бились мы век целый с ляхами, а он, изменник, посягнул и на людское добро, и на веру! Выселять, уничтожать задумал родной люд. Да до такого не доходили еще и ляхи...

– С роду веку, – отозвался Ханенко, – если они и делали прежде подлости, так теперь лихо их надоумило: научит нужда корки есть.

– Коли – еще с салом, – заметил куренный.

– Эх, горбатого, панове, разве могила выправит, – вздохнул Богун. – Вернулся это из Москвы Бруховецкий боярином да еще с княгиней, пожалованный поместьями, а его свита, «почт» войсковой, вернулась дворянами и тоже с «маеткамы» – ну, и задрали носы, особенно гетман, так что ни приступу, все ахнули; а как узнали про его ходатайства, так воем завыли и заломали руки, проклинаяuchi своего гетмана, вот оттого-то все нам и обрадовались, как избавителям. Так ляхи, а особенно этот дьявол Чарнецкий, опять-таки себя показали: стали грабить, жечь, разорять Божьи храмы, над святыней «знушаться». Нет, не заступайся, – остановил он жестом Ханенко, – не стоит! Сразу переменялось к нам сердце народа, стал он примыкать к русским воеводам и отражать ляхов, а особенно взбудоражил народ кошевой наш Сирко: он «щыро» верит, что одна Москва православная может лишь быть нам охраною, что это только наши «перевертни» подбивают ее, а что, во всяком случае, во сто раз больше бед от ляхов и невер, их-то кошевой всей душой ненавидит, ему хоть свет завались, а лишь бы татар бить.

– Да что ж Сирко, – вставил как-то пренебрежительно Ханенко, – казак-то он отважный, «голинный», удалец завзятый, да характером не тверд, все сгоряча, с «запалу», забьет ему кто в голову гвоздь, он и ломит в одну сторону, пока другой этого гвоздя не вышибет.

– Не люблю я, брате, коли ты отзываешься про нашего батька негоже, – заметил Богун, – коли б у нас было побольше таких честных да «щырых» душ, как у Сирко, так может быть не стонала бы так и не корчилась в крови Украина... Я уж и не говорю, что на поле его не сломит никто, не даром и «характерныком» прозвали; он человек не продажный, неподкупной и любит родину, головой за нее ляжет, а если бы даже и ошибся в своих думках, так кто же теперь в

⁴ Совет черни.

таком омуте разыскать сможет правду... Ну, вот нас и погнали с Тетерей назад: ляхи бросили его, а на «сем боку» Днепра началось тоже повстанье против Тетери и его ляхов... Тетеря обвинил нарочито Выговского в этой «завирюхе» и схватил... Клялся тот перед ним, что не виновен, требовал трибунального суда, а Тетере – плевать! Даже исповедаться и приобщиться перед смертью ему не дал, а велел застрелить, как собаку... Молча перекрестился дед, и все вздохнули.

– А Чарнецкий тем временем навел на нашу бездольную Украину татарву и бросился умирять непокорных, – продолжал Богун. – Господи! сколько полилось невинной крови!.. Солнце праведное не могло ее высушить, так она лужами и стояла! А татары рассыпались «загонами» по нашей земле, и запылало кругом, небо «почервонило», покрылось дымною мглой, а воздух наполнился гарью человеческих тел... С одной стороны грабят татары, режут, уводят в полон, а с другой – Чарнецкий сметает с земли села... Все поголовно «катуе», на колья сажает... Эх, да и есть ли на свете другая такая мученица, как наша Украина!

– Да что ж мы, да как же это? – простонал как-то взволнованно дед, утирая глаза.

Все потупились мрачно и не проронили ни слова. В упавшей тишине послышался вдали топот коня, он то усиливался, то затихал.

Дед насторожился.

IV

В это время баба и две девчины принесли вечерю, – целую макитру гречаных галушек с таранью и огромную миску вареников, да сулею «оковытой», и отвлекли внимание.

– Ге-ге, – улыбнулся, расправляя усы и засучивая рукава, Сыч, – славную вечерю приготовила нам баба, дух такой пошел, что душу к «оковытой» так и тянет... А вот, – обратился он к Богуну, – и твоя любимица, моя внучка Галинка... Полюбуйся, как выгналась, как лозинка «гнучкая».

– Ай, ай, ай! Моя «красунечка»! – воскликнул радостно Богун, – давно ли козочкой прыгала, на колене у меня «гойдалась», а я припевал ей: «ой, тоси-тоси, – кони в гороси!» А теперь дивчина, настоящая дивчина! Да какой еще полевой цветик! Что же к дядьку своему не подбежишь?

Вся покрасневшая от радости и похвал, с горящими глазками, стояла нерешительно Галина, конфузясь при других броситься, как прежде, к дядьку на шею.

– Что же ты, Галюню? Испугалась, что ли, меня? – промолвил после паузы, вставши, Богун, – Так мы вот как теперь! – и он обнял смущенную девушку и чмокнул громко в обе щеки, а Галинка поцеловала украдкой его в руку.

– Дочка моего лучшего покойного побратыма, – обратился он ко всем, – славного на всю Украину казака Морозенка.

– Морозенка? Олексы? – изумились все.

– Да, моего зятя, – ответил, подавивши глубокий вздох, дед, – на дочке моей на Оксане был женат... А как его убили, и моя единая дочка умерла от тоски, так я с Галиной и поселился здесь.

Дед налил всем ковши, и «оковыта» была выпита с обычными приветами и пожеланиями, особенно относительно безотрадной, несчастной родной страны. Словно обрадовавшись вечеру, чтобы хоть чем-нибудь перебить тяжелое настроение, все набросились на нее с жадностью и молча стали утолять голод.

Девчата стояли тут же и прислуживали дорогим и важным гостям. Когда миски и макитры были опорожнены, и казаки, утирая лбы и усы, перешли к прохладительным напиткам, то разговор опять начал завязываться.

– Взалкал, и утоли глад мне Господь, – перекрестился набожно Сыч, – Ну, теперь примемся, мои дружи, за наливки... да и мед старый у меня отыщется для приятелей, благодаря одному бенедиктину, упокой Господи его душу. А вы, дивчата, приберите все лишнее да принесите сюда хоть два барылка, да и фляжек тех, что мохом обросли и стоят в дальнем «льоху», также притащите сюда штук пять, шесть. Так, так-то, дружи мои, – обратился он ко всем, наливая в кухни темно-малиновую жидкость, – там канчук, а там кнут, – всюду «скрут»! Ох, ох, ох! Помереть-то лучше, чтобы и не слышать такого... Ну, а что ж этот пес, Чарнецкий, все еще неистовствует?

– Неистовствовал, – подчеркнул Богун, – епископа Тукальского и архимандрита Гедеона Хмельницкого сослал было в Мариенбургскую крепость. Тетеря же со своей стороны грабил где мог и что мог, послал Дрозденко и тот ободрал несчастную вдову Тимкову, Домну Роксанду, – сама едва живая ушла. Поднялся везде против таких извергов люд; иные целыми лавами двинулись на левый берег Днепра, а другие стали собираться в «купы» и защищаться, а поляки со своей стороны составили конфедерации, наконец-таки Чарнецкий подох, а Тетеря не мог уже держаться среди общей ненависти и удрал в Польшу.

– Слава тебе, Боже, и долготерпению и милосердию Твоему слава! – перекрестился набожно дед, – хоть отдохнула, наконец, наша «ненька».

– Ох, не так-то и отдохнула, да и придется ли ей когда отпочить? – вздохнул безокий куренной. – Куда ни глянь, гвалт, да крик, да разбой, словно подурели все, головы потеряли. Выбрали не так давно гетманом Петра Дорошенко, и король утвердил его, даже уважил просьбу нового гетмана и выпустил на волю Тукальского и Хмельницкого; а тут появился еще другой гетман Опара, управился Дорошенко с ним – появился Дрозденко, сломил и того, появился Суховий. Такое завелось, что, почитай, каждая просто «купа» хочет завести своего гетмана, а казацкие войска и туда, и сюда. Настоящие-то казаки стали переводиться, то в шляхту «пошлысь», то своими пасеками занялись, а вместо себя стали поставлять в войска наймитов. Только кому скрутится, а нашему «поспольству» так смелется! В таких беспорядках ни сеют, ни жнут, а с голоду пухнут; прежде было хоть эконома закупают, да и прирбают себе стожок, другой, а теперь так пустошью все и лежит. Ну, какого бы, кажись, лучшего гетмана, как Петра? «Щырый» и правдивый, отважный, стоит за единую Украину, так нет!

– Так кто ж у нас теперь гетманом, и не разберу, – развел дед руками, – Дорошенко, чи Бруховецкий?

– На Левобережной Украине – Бруховецкий, а у нас Дорошенко, – ответил Богун. – Разорвали, выходит, пополам предковскую русскую землю, и братья на братьев встают... Днепр краснеет от сыновней крови... Бруховецкого и там ненавидят, а он лезет еще сюда, берет Канев... наш-то Дорошенко про одно «дбае», чтоб Украину вместе соединить, хоть и под Московской державой, да вместе, а вот слух прошел, что царь заключил с ляхами Андрусовский мир и от нас откинулся... Если мы останемся разорванные надвое, то гибель всем, да и только!

Тяжелый вздох вырвался из груди у деда, как леденящий порыв зимнего ветра.

Орыся принесла увесистое барылко и поставила посреди «кылыма», а Галина разместила на нем же полдюжины фляжек и остановилась в стороне, готовая каждую минуту к услугам.

Богун долго и нежно смотрел на эту милую, грациозную девушку и переживал в душе какие-то давние, дорогие ему впечатления.

– Ох, – вздохнул он потом, проведя рукой по челу: – сколько это милое личико пробудило воспоминаний... Красавица мать ее... Богдан «незабутний». Семья его... Субботов... Сколько сил душевных было там, сколько грелось надежд! – Все прошло, все минуло... Дорогие лица спят под землей...

Словно похоронный припев прозвучал его голос и навеял на всех щемящую «тугу» – печаль. Все смолкли и задумались...

Стояла уже тихая, теплая ночь... Внизу подымался с речки туман и наполнял легкой влагой воздух... Вверху в бездонной синеве кротко мерцали звезды... На дальнем горизонте из-за могилы выплывал ярким заревом месяц. Было так тихо, что из дальнего степного озера доносился треск коростеля, перемежающийся с заунывным стоном лягушек.

Вдруг послышался вновь, но уже близко, на той стороне речки, торопливый, приближающийся топот коня и всплески воды, потом на этой уже стороне какой-то короткий храпящий стон, барахтанье и грузное падение тяжелого тела. Все всполошились и поднялись на ноги.

– Что-то неладное, – заговорил после небольшой паузы дед, – пойдемте, панове, посмотрим... Гей, Немото, – крикнул он по направлению к землянке, – фонари давай! Отсунь ворота!

Вскоре Сыч с немым наймитом и гостями спустились по небольшой покатости к речке. Долго искать было не нужно; тут же сажень в пяти, на берегу, поросшем низким «осытнягом» и татарским зельем, виднелась лежавшая туша. Бросились к ней и остолбенели от ужаса: то оказался мертвый, холодеющий уже труп коня, на спине которого привязано было сетью веревок полуобнаженное, окровавленное, истерзанное человеческое тело; веревки в иных местах впились в него до кости, в других – стерли всю кожу, на зияющих ранах прикипели и болтались обрывки одежды, и одежды богатой. Дед бросился к трупу, приложил ухо к обрызганной за пекшейся кровью груди и через минуту промолвил:

– Он жив еще... сердце бьется... Помогите развязать поскорее!

Богун бросился перерезать кинжалом веревки, другие стали приподымать коня, навалившегося на ногу несчастной жертвы какого-то зверства; безжизненный, таинственный всадник был привязан на спину головой к крупу, а ногами к шее коня. Вследствие долгой, бешеной скачки и ослабления веревок, тело страдальца съехал вниз со спины, но, по счастливой случайности, издохнувший конь упал на другой бок.

Провозились все-таки порядочно, пока освободили от пут бездыханного седока и положили его на керее. Лицо несчастного меньше всего пострадало: оно было молодо и прекрасно; тонкие черты его, расположенные с гармонической прелестью, невольно влекли к себе каждого, матовая бледность изнеженной кожи оттенялась темно-каштановой волнистой чуприной, подбритой изящно, по тогдашней моде, в кружок; все это – и лицо, и прическа, и клочки «оксамыта», шитого золотом, – свидетельствовало о франтовстве и знатности «юнака».

Дед усердно стал растирать ему грудь и старался влить в стиснутый рот несколько капель горилки; Богун, Палий и Ханенко терли руки и ноги; остальная дворня с фонарем и головнями столпилась вокруг; только две девчины скромно стояли у ворот, сгорая от любопытства, узнать: в чем дело? Кого спасают? Кто он? Какой? Посланная на разведку баба вернулась с неопределенными ответами, заинтересовавшими еще больше девчат.

А старания деда и казаков хотя медленно, но возвращали молодой труп к жизни; сердце в нем начинало явственнее и правильнее биться, дыхание восстановилось, теплота зарождалась в окоченевшем, покрытом страшными язвами теле.

– Будет жив, коли Бог даст, – промолвил, наконец, поднявши голову, дед, – дышать начал и теплеть. А мы вот что, – обмоем ему здесь раны хоть немного, да перенесем в хату.

– Там скорее согреется и отойдет... тогда можно будет уже перевязать их и осмотреть, нет ли где перелома?

Принесли деду сейчас же воды и ветоши, сорвали осторожно прикипевшие к крови лоскутья и стали еще осторожнее промывать раны; при прикосновении к более жестоким язвам тело несчастного вздрагивало, и эти конвульсивные подергивания радовали деда.

– Э, вздрагивает, «выдужает», – шептал одобрительно Сыч, осторожно отмачивая и отдирая присохшие куски «оксамыта», – уж коли чувствует боль, так это к добру... к добру... «Омыеши иссопом и паче снега убелюся»... – приговаривал он, придя в хорошее расположение духа.

– Кто бы он был? – не то спросил, не то с собой рассуждал Богун, присматриваясь к неподвижно лежавшему телу. – Молодой совсем, статный, красивый... очевидно панской крови и эти ключья дорогой одежды, а вон, перстень на руке какой? Ведь его не вберешь и в тысячу злотых... да и по лицу видно, что шляхтич... не наш, конечно, не наш.

– Как не наш? – отозвался Палий, помогавший деду. – А вот, поглядите, крест золотой на шее... не католический.

Все нагнулись, чтоб рассмотреть большой крест, висевший у незнакомца на шее, и были изумлены: крест был несомненно греческий, с греческой даже надписью и свидетельствовал о православном вероисповедании предполагаемого шляхтича.

– Кто ж бы он был? – рассуждал безокий куренной. – Не сичевик, не братчик, я своих всех знаю, а этого ни разу не видал ни в Базавлуке, ни на Хортице... Разве кто из нашего значного казачества, либо сын которого... Только какой же дьявол с ним такую штуку сыграл?

– А какой же, как не ляшский, – заметил Палий, – татарин бы так «знушаться» не стал, а тем паче наш брат над своим братом.

– Пожалуй, что так, – согласился безокий, – королям-то под руку такой «глум» над схизматом, вот коли б не прибрал черт до пекла Чарнецкого или Яремы, то я б на них и подумал.

– Стойте, панове, – отозвался наконец Ханенко, все время присматривавшийся к юнаку, лежавшему все в бессознательном состоянии, – а осветите-ка больше лицо его... так, вот так... Да он же, он! – воскликнул наконец уверенно пан полковник, – видел раз, и узнал, нет сомнения, что он.

– Кто же, кто? – заинтересовались все.

– Да прозвище забыл, какое-то чудное: не то «мазыло», не то «репа». А года четыре назад... так-так, года четыре, не больше, приезжал он в лагерь наш королевским посланцем, – привозил Тетере гетманские клейноды. Ну, мы не приняли их, конечно, от такого молокососа. Возили же нам прежде эти клейноды почтенные сановники польской короны, а теперь вдруг явился свой брат, почти безусый, ну, и прогнали.

– Не много же ты сообщил, друже, – махнул седыми усами дед.

– Сколько знали, столько и знаем. Помогите-ка теперь, прикройте его другой кереей и отнесите в хату, там на «полу»⁵ ему будет отлично и просторно.

Больного понесли в хату; Галина с подружкой опередила это шествие и успели постелить на «полу» два мягких «коца» закрыть их рядом, а под бока и голову намотать подушек после чего торопливо ушли в темные сени и притаились там, желая хотя украдкой взглянуть на умиравшего. Им удалось это, когда отворилась дверь в хату, и передовой Палий поднял высоко фонарь.

– Ох, какой «молоденький», – всплеснула руками Галина. Краснощекий да чернявый, как жук, – прыснула тихо Орыся, спрятавшись шаловливо за плечо подружки.

– Как краснощекий? Белый, как полотно, бледный, как смерть.

– Да ты про кого?

– Про того, что понесли.

– А я про того, что фонарь держал, – рассмеялась неудержимо поповна.

– Цыть! – испугалась даже Галина, – облают. И как таки не грех – паныч умирает, а ты хохочешь.

Но Орыся еще пуще рассмеялась и, во избежание скандала, удрала из сеней во всю прыть.

Долго возился у постели больного дед; перевязывал ему раны, прикладывал к ним какие-то листья и свои снадобья. Между тем тело юнака теперь уже не только было тепло, но начинало гореть; у больного, видимо, развивалась горячка.

⁵ Род низких полатей.

V

Управившись, дед попросил гостей отдохнуть: на душистом сене, под навесом в саду, были разостланы для них ковры и подушки.

– Дивчата мои покараулят его ночью по очереди, и коли что, меня известят, а то я и, сам буду наведываться, – сообщил о своих мероприятиях дед, провожая гостей.

Галина, посланная им, робко вошла первая в светлицу. Больной, забинтованный, одетый в белую сорочку, лежал на подушках неподвижным пластом; он был прикрыт под руки сероватым рядном; в головах у него теплился высоко на полочке «каганец»; мерцающий свет его слабо освещал хату, погружая углы ее во мрак, и падал лишь светлым пятном на лицо умирающего: теперь оно при этом освещении, оттененное разбросанными по подушке прядями темной «чупрыны», казалось еще бледнее, еще прекраснее, особенно рельефно выделялись на нем из-под смело очерченных бровей изящнейшие овалы сомкнутых глаз, опущенные почти черными дугами.

Галина долго стояла у печки, не шевелясь и не отводя глаз от больного; если бы не легкие тени, пробежавшие иногда по этому неподвижному прозрачно-восковому лицу, она бы приняла его за мертвеца... И то, в минуты полного оцепенения больного, у девчины пробежала по спине дрожь, а ноги порывались унести ее из светлицы; но Галину удерживала на месте неведомая сила: в ней чуялись – и жалость, и сострадание, и какое-то родственное влечение сердца, и страх.

Никогда она не видала еще на этом счастливом хуторе умирающих, и вот это первое страдание поразило глубоко ее чуткую душу. Глаза девушки, полные слез, приковывались к этому безжизненному лицу, молодое сердце ее волновалось впервые новой, жгучей скорбью. Да, ей бесконечно было жаль этой молодой жизни, гибнувшей от зверского насилия убийц, гибнувшей так рано. так мучительно... И Галина неподвижно стояла.

В хате было душно, пахло васильками. В мертвой тишине слышался только шум тяжелого дыхания больного, да легкое потрескивание светильни, да вздохи... Виновницей последних она была сама, но этого не замечала.

– Кто он? Откуда? За что его убили? И как, верно, будут плакать о нем мать и отец? – копошились в ее головке смутно вопросы, но она не подыскивала им ответов, а чувствовала лишь в сердце своем едкую боль, и этой боли не гнала прочь, а еще бередила: вспомнилось Галине и свое сиротство, и безвременно погибшие «ненька» и «батько». Взволнованное, потрясенное сердце ее щемило еще сильнее, из глаз катились крупные слезы... – Я ж сирота, одна на свете. Вот только дид, мне бы и умирать «байдуже», а вот он, молодой да хороший – ему тяжко... да и роду его... По мне бы, коли б не дид, никто и не заплакал, а по нем, – вздохнула она глубоко и, сжав руки, произнесла громко растроганным голосом: – Господи, «зглянься»! Спаси его!..

Вошла Орыся. Галина вздрогнула, оглянулась и знаками удержала ее от болтовни, жажда к которой так и играла в ее задорной улыбке.

– Молчу, молчу, – прошептала та, подходя ближе, – нет, гарный паныч, правда твоя, – заметила она, переходя немного, – только тот живой, чернявый, с пекучими глазами лучший.

– Страшный, «вытришкуватый», глазастый, настоящий цыган, – промолвила беззвучно как бы про себя, Галина, – а этот, такой жалкий, такой любый!

– А я бы, коли б не Остап, лучше того выбрала.

– Как выбрала? Чтоб лечить?

– Ну, вот! – засмеялась тихо Орыся. – «Чтоб лечить», – чтоб любить, да ласкать, а лечить так и этого ни к чему: все, равно умрет...

– Что ты? На Бога! – всхлипнула по-детски Галина. – Чего ты такое лихо пророчишь?

– Умрет, попомнишь мое слово, умрет, – загорячилась Орыся.

Но в эту минуту вошел Сыч, и девчата замолкли. Он осмотрел больного, ощупал его тело и одобрительно кивнул! головой, потом настоятельно потребовал, чтоб Галина ушла отдохнуть, а сам остался при больном с Орысей. Утром казаки собрались в дорогу. Несмотря на просьбу деда и его внушки Галины, Богун никак остаться не мог. Он спешил со своими товарищами по важному делу от Сирка к новому гетману Дорошенку, а Ханенко спешил в Умань. Последний перед отъездом еще раз зашел в светлицу, взглянуть днем на больного, метавшегося в беспробудном сне, и подтвердил, что он не ошибся, что это именно тот самый, которого он видел и добре запомнил.

– Так ты бы, голубе сизый, расспросил других, кто он, – сказал Сыч, – дал бы его родным знать, а то не ровен час... Надея-то у меня есть на Бога, да что-то несчастному память забило – не зашиб ли ему головы на бегу как-либо конь? Ханенко обещал на обратном пути из Умани все разведать. Богун, обнявшись несколько раз горячо с Сычом, поцеловал в голову его внушку и подарил ей на «бынды» и на манисто пять дукатов; но этот подарок не обрадовал, как прежде бывало, девчины; она поцеловала дядька полковника в руку и стояла тихая да печальная с глазами, полными слез.

Гости уехали, двор опустел. Обитатели этого заброшенного в безбрежной степи жилья принялись снова за свои обычные труды и заботы; только дед с девчатами неотлучно засел в светлице у постели больного.

Последний становился с каждым днем беспокойнее, – метался, стонал и не приходил в сознание. Что ни делал дед – и хрен, смоченный в сыровцу, привязывал к рукам и к шее, и голову обкладывал изрезанным картофелем и сырой глиной, – ничего не помогало, главное, трудно было влить больному в рот хоть немного варева из чудодейственных дедовских трав, а то бы оно уняло, наверное, «огневыщю», разгоравшуюся сильнее и сильнее...

Так прошло три дня, и дед уже начинал, видимо, терять надежду; он становился все пасмурнее и мрачнее и неодобрительно качал головой при перевязке бесчисленных ран. Девчата ходили по светлице на цыпочках, молча, с печальными лицами; даже веселая и жизнерадостная Орыся перестала улыбаться.

После мятежно проведенной третьей ночи больной к утру несколько успокоился, или быть может выбился из сил; губы его от страшного жара потрескались и запеклись «смагою», на бледных щеках появились два алых пятна... казалось, он совсем догорал, и дед с усиливающейся тревогой подходил чаще и чаще прислушиваться к его груди, но вдруг неожиданно и внятно больной вымолвил слово «пить».

Все вздрогнули радостно; Галина всплеснула руками и с немой благодарностью подняла глаза в угол, к темному лику Спасителя.

– Зелья, зелья, давайте скорее!.. Что же вы стали? – прикрикнул с улыбкой дед.

Ожившие девчата опрометью бросились к кухлю... Однако радость Галины оказалась преждевременной. После единственного вырвавшегося у больного возгласа он впал снова в прежнее бесчувственное состояние. Прошел день, другой, но зоркий глаз деда не мог найти никакого признака улучшения, напротив, положение больного принимало угрожающий характер. Лежа на спине неподвижно, как пласт, с заброшенной головой, с закрытыми глазами, он не произносил ни слова, ни звука, ни стога. Если бы не густой зловещий румянец, покрывавший его щеки, да не жгучее, порывистое дыхание, вырывавшееся из полуоткрытых запекшихся губ, – его можно было бы принять за мертвеца. «Огневыця» разгоралась все больше и больше в его истерзанном теле. Несмотря на холодные тряпки, которые Галина постоянно прикладывала к его голове, несмотря на картофель, на глину – голова больного горела, как в огне, лицо его пылало, кожа на теле была так суха и горяча, что казалось, можно было и на расстоянии ощущать исходящий из нее жар.

– Диду, диду, умрет он, или останется жить? – спрашивала у деда Галина, переводя свои полные слез глаза с лица больного на лицо старика.

– Как Господь милосердный захочет, так и будет! Рече бо и быша, повеле и создашася, – отвечал дед, угрюмо посматривая на больного.

– Так будем же «рятувать» его, диду! – хватала старика за руку Галина, – ведь нельзя же ему умереть!

– Как тут «рятувать»? Вот если заснет, тогда можно будет надеяться, а если нет...

– Да ведь он же спит все время!

– Спит, – качал головой Сыч, – есть, дытыно, разный сон. Коли сон темный, так это только «навмыруще», а светлый сон, легкий, ну, тогда уж верно, что жив будет.

– Так что же делать, дидусю?

– Молиться. Вот если б акафист, или молебен с водосвятием, да напоить святой водою!

– Так послать бы за татом Орыси, за отцом Григорием!

– Близкий свет! Хоть я и сам про то думаю... раны-то ничего, не чернеют, вот только эта «огневыща» мне не по сердцу, ох, не по сердцу! – вздыхал Сыч и отходил в сторонку, а Галина снова садилась у изголовья больного.

С тех пор, как она увидела его полумертвого, истерзанного, мысль о его спасении всецело захватила ее. Она не отходила ни на минуту от больного; все ее доброе, чуткое сердце имевшее так мало объектов для любви и привязанности, прониклось чувством бесконечной жалости к несчастному, молодому шляхтичу. С какой материнской, нежной ласкою склонялась она к больному, проводя своей нежной рукой его пылающей голове; как жадно прислушивалась она к малейшему шороху, боясь не расслышать его голоса. Она спускала с него глаз, стараясь уловить его малейшее движение; она наломала в саду лопухов и обмахивала ими непрерывно лицо больного, думая хоть этим уменьшить изнуряют его жар.

Сыч любовным взглядом следил за нею, когда она бесшумно скользила вокруг больного, во всех ее движениях, во взгляде, во всем ее существе было столько трогательной любви и заботы, что нельзя было не умиляться, глядя на нее. Даже Орыся, помогавшая во всем подруге, не могла надивиться ее умению ухаживать за больным. А баба, смотря на то, как ловко помогала Сычу Галина перевязывать и промывать раны больного, шептала только тихо, покачивая головой: «Сказано, Божья душа».

К концу второго дня у больного появились какие-то беспокойные движения.

– Диду, смотрите, ему уж лучше, он шевелится, – прошептала радостно Галина, заметив первая эту перемену в состоянии больного. Но Сычу это известие не доставило большого удовольствия: он посмотрел внимательно на больного, дотронулся до его тела рукой и сомнительно покачал головой.

К ночи жар в теле больного еще усилился; он метался по постели, срывая свои перевязки, порывался с такой силой схватиться с места, что Сычу стоило большого труда удержать его. Но к утру силы больного совершенно упали; тело его стало холодно, лицо побледнело, буйные порывы исчезли. Сыч снял перевязки с его ран, промыл их, затем осмотрел тело больного, и лицо его приняло крайне озабоченное выражение.

– Что, что там такое, дидусю? – нагнулась к нему испуганная Галина.

– А вот что, дытыно, – указал он ей на обнаженную рану больного. По внутренней стороне руки шел ряд красных пятен, такие же пятна виднелись и по всему телу.

– А что, это очень погано, диду? – спросила Галина дрогнувшим голосом.

– Погано, дытыно, – ответил серьезно Сыч, – будем надеяться на Бога!

К полдню у больного начался страшный озноб, а через час, через два сменился он нестерпимым жаром, который к ночи перешел в бред. Больной стал снова яростно срывать свои перевязки, грозить кому-то, кричать, и вдруг среди воплей и криков он открывал глаза и начинал

шептать какие-то ласковые невнятные слова. Так прошел день, другой, третий; озноб перемежался с жаром, но с каждым днем приступы жара становились все сильнее и сильнее.

Галина с трепетом следила за этим горячечным проявлением жизни, прислушивалась к словам больного, стараясь уловить в них его желания, но в безумных отрывочных фразах и выкриках больного она не могла уловить смысла.

То он нежно шептал кому-то: «Радость моя! Счастье мое... Ты как солнечный, весенний луч здесь, на чужбине... и согрела и оживила... умереть за тебя...» То снова тихая речь больного обрывалась, и переходила в раздраженный, угрожающий тон: «Я не хлоп! Не быдло! – выкрикивал он – мы такие же вольные люди и носим сабли! Что? Связать меня? Не подходи, на месте положу! Ироды! Кровопийцы!» – выкрикивал он, порываясь подняться с подушек и снова падал в изнеможенье назад.

Вслушается дед в этот бред, покачает головой и промолвит:

– Эх, бедняга! И тебе, верно, довелось от панов попробовать «пергы», как и нам, грешным.

– Какой «пергы», диду?

– А той, доню, горькой, что от меду отбрасывают!

– Диду, да как же они смеют, эти паны, издеваться над всеми, почему, отчего? – заволнуется Галина.

– Как смеют? – улыбается Сыч. – Агнец ты Божий! А так смеют, потому что у них руки длинные, а потому они у них такие длинные выросли, что у других все время связанные были.

Галя взглянет тревожно на деда, а потом на больного и с болью в сердце закусит губу.

Так прошло еще дня три, и с каждым днем положение больного, видимо, ухудшалось.

VI

Было раннее утро; с больным вновь начался озноб; Сыч и Галина ожидали с минуты на минуту приступа жара, Орыся была тут же. За последнее время она сильно соскучилась пребыванием в степи, часто вздыхала, задумывалась и с нетерпением ожидала приезда своего отца, священника из ближайшего левобережного села.

Охваченная вся страстным желанием спасти умирающего, Галина не замечала настроения своей подруги, так и теперь сидела она неподвижно, не спуская глаз с больного; тело его перестало вздрагивать, на бледном лице начинал проступать лихорадочный румянец, из полукруглых, запекшихся губ начинало вылетать порывистое дыхание. Вдруг больной вздрогнул с ног до головы и, открывши глаза, обвел всю комнату горящим, безумным взглядом; затем он быстро сорвался с подушек, одним порывистым движением сбросил с себя рядно и, севши на своей постели, устремил глаза в дальний угол. Его прекрасное лицо было страшно в эту минуту; глаза с каким-то безумным ужасом вперились в пустое пространство, губы беззвучно зашевелились. Вдруг страшный дикий крик вырвался из его груди, больной рванулся назад и, вытянув вперед худые руки, словно стараясь защитить себя от какого-то невидимого врага, заговорил хриплым, прерывающимся шепотом:

– А! Ты опять здесь... пришел терзать меня?.. Сколько раз хочешь ты убить меня? Сколько раз, спрашиваю? Говори, говори! Говори же, трус! – закричал он диким голосом. – Чего ж стоишь, чего смотришь?! Чему смеешься, гадина?!

– Диду, – вскрикнула от ужаса Галина, – что с ним?

– Ему представляется, видимо, то лихо, что стряслось над его головой... Это все «огневыця»... уложить бы лучше.

Орыся подошла осторожно к больному, он все еще смотрел неподвижными, широко раскрытыми глазами в угол, пораженный каким-то ужасным видением, и вдруг, словно заметив приближающихся к нему деда и Орысю, порывисто откинулся назад и вскрикнул злобно:

– Засада! А, вас пять, а я один! Ха, ха, ха! – запрокинул он голову и разразился диким хохотом, – ха, ха, ха! «Шляхетный вчынок», пане! Ну, что ж, – я не скрываюсь. Оскорбил, так оскорбил, – продолжал больной с какой-то гордой улыбкой. – Жена! Ха, ха! Ты-то ее как поважал? Ну, вынимай саблю... Я готов сразиться... Я готов сразиться со всеми вами! Я готов! – повторил он настойчиво, нахмутив брови, и вдруг остановился, умолкнул, словно прислушиваясь к чьим-то словам.

– Ой, дидуню, дидуню! – всплеснула руками Галина.

– Тише! Цыц! – махнул на нее рукой дед, – поддай скорее натертого хрену и ветошки.

– Что!? – вскрикнул бешено больной, вскакивая с постели и поворачиваясь к ним с безумным пылающим лицом. – Ты не станешь сражаться с хлопом? Ты прикажешь своим слугам разделаться со мной? Так погоди же, с Мазепой разделаться не так легко! Где же сабля? Где сабля? – хватался он в отчаянии за пояс руками, и, не находя ничего, закричал диким голосом, – ты, ты? Низкий трус, посмеешь сделать это? – и ринулся вперед.

Девушки отскочили с криком. Дед подкрался тихо и поднял с полу рядно.

– Связать?! – продолжал в исступлении больной, – меня, меня, Мазепу, чтоб хлопы вязали!? – Нет! Не удастся! Убью! Задавлю вот этими руками! А! Вот готов один... другой... – рычал он, срывая с лавы подушки и судорожно сжимая их в своих руках.

В это время дед накинул его сзади рядом и крепко охватил руками. Прикосновение это привело в бешенство больного.

– Прочь, прочь! – закричал он, вырываясь от деда. – Предатели... схватили сзади... безоружного! Нет! Нет! Еще есть сила! Живым не дамся! – метался он, стараясь вырваться из объятий деда.

– Диду! На Бога! Не мучьте его! – крикнула со слезами Галина.

– Молчи, дытыно, его надо уложить! – ответил Сыч, делая знак Орысе, чтоб та помогла ему уложить больного на постель.

Но исполнить это оказалось очень трудным. С хрипом и визгом хищного зверя больной впился зубами в плечи Сыча, вцепился ногтями в его тело. Багровое, искаженное отчаянием лицо иступленного было ужасно.

– Будь ты проклят, трус! Иуда! – хрипел он, задыхаясь. – Вот что ты придумал для меня? А... конь?! – бросился он вдруг с диким криком в сторону и, запутавшись, упал на кровать. Сыч воспользовался этой минутой и набросился с Орысей пеленать его. Почувствовав на себе тяжесть Сыча, больной судорожно забился в подушках. – Пустите! Пустите же, хамы! Люди! Да неужели же Бога нет у вас в сердце? – стонал он раздирающим душу голосом. – Режут веревки! Добейте лучше! Бросьте под копыта! На Бога! – Но Сыч уже не выпускал его.

Не было сил наблюдать эту сцену.

– Диду, диду! – бросилась к Сычу с рыданьем Галина, – оставьте его, не давите!

При звуке ее голоса больной вдруг вздрогнул весь, приподнялся на локтях, впился в лицо Галины каким-то безумным взглядом и лицо его осветилось диким, злорадным выражением. – А и ты здесь, – зашептал он, – плачешь, плачешь теперь? А раньше почему не ушла со мной, как говорил тебе? Пани, шляхетная пани! – продолжал он язвительно, – поиграть хотела с казаком! – И вдруг закричал снова диким голосом, протягивая вперед руки, словно старался оттолкнуть какое-то неизвестное существо: – Прочь! Прочь! Не надо мне твоих продажных слез. Я ненавижу, слышишь, ненавижу тебя, всех вас, всех, всех! – Голова его запрокинулась, он упал на подушки; казалось, силы совершенно оставили его; Сыч воспользовался этой минутой и, спеленав предварительно ноги, начал с Орысей пеленать и руки. Но едва он прикоснулся к ним, как бешеное сопротивление охватило больного с двойной силой.

– Пустите, пустите! – закричал он, стараясь вырваться из крепких объятий Сыча, – я не позволю привязать себя. Веревки впиваются в тело! Жжет меня! Жжет огнем! Спасите! Спасите! – стонал он, напрягая свои последние силы. – На Бога! Нет никого! Лес... сучья... терновник... Воды! Задыхаюсь!.. Смерть! – рванулся он вдруг с такой силой, что даже оттолкнул Сыча и грохнулся всей тяжестью навзничь. И Орыся, и Галина в ужасе бросились к нему, но Сыч остановил их.

– Тише, дивчата, не тревожьтесь, теперь только укрыть его, будет уже лежать тихо. Ишь ты, бездольный, видно «добре» тебя вымучили паны, – покачал он головой, старательно укутывая больного, который теперь лежал уже неподвижно с запрокинутой головой, с запавшими глазами и словно еще похудевшим лицом.

– Ироды гаспидские, – ворчал дед, поправляя на ранах больного сбившиеся и сорванные перевязки. – Ну, подожди, подожди, даст Бог, может еще выходим, тогда отплатим всем.

В это время у ворот послышался сильный стук и чей-то громкий, молодой голос крикнул вслед за ним:

– Гей, кто там есть? Отворите ворота!

При звуке этого голоса Орыся вдруг покраснела и с подозрительной поспешностью бросилась из хаты.

– Постой ты, «дзыго»! – крикнул ей вдогонку Сыч, но Орыся уже не слышала его, – Верно, панотец приехал. Ишь, как соскучилась за батьком, – улыбнулся он доброй широкой улыбкой и обратился к Галине. – Ну, ты, дытыно, посиди здесь, а я пойду панотца встретить, может он молитву прочтет над ним, и «зглянется» Господь.

Сыч вышел, Галина осталась одна. Она придвинула свой табурет к самому ложу больного и задумалась. Ужасный бред его произвел на нее потрясающее впечатление. Из его отрывочных криков ей было ясно только то, что Мазепа стал жертвой возмутительного панского насилия, и что какая-то пани, вероятно, жена того пана, – решила Галина, – помогала еще во всем

этом «гвалти». Картина насилия вставала перед ней, как живая; ей казалось, что она видит страшную борьбу Мазепы, его тщетные усилия освободиться от злодеев, что она чувствует его нечеловеческие муки... И в сердце ее разгоралась ненависть к мучителям-панам и чувство бесконечной жалости к несчастному страдальцу.

– Бедный, бедный, любый наш! – шептала она со слезами на глазах, наклоняясь к нему и проводя ласково рукой по его голове. – Ты не бойся, мы не отдадим тебя никому, никому. Мы любим тебя, слышишь? Любим, любим, любим! И защитим от всех.

В хате было тихо; слышно было, как билась и жужжала запутавшаяся в паутину муха.

Галина все шептала на ухо больному нежные, ласковые слова, но больной только слабо дышал и не слышал ее слов. Между тем во дворе происходила следующая сцена. Прямо друг против друга сидели в тени вишневого садика Сыч и гость, приехавший в сопровождении трех казаков. Последние, подкрепившись уже всем, что могла достать для дорогих гостей баба, разошлись отдохнуть с дороги. Орыся также куда-то исчезла.

Собеседник Сыча казался гораздо моложе его, хотя волосы и борода его были сильно тронуты сединой, но черные глаза глядели живо, молодо и смело, а во всех движениях его высокой, но коренастой фигуры виднелись сила и здоровье. Одет он был в чоботы, шаровары и в холщовую рясу, скорее похожую на длинный кафтан; только по волосам, заплетенным в тугую косичку, и по кресту на шее можно было догадаться, что это был священник.

– Так-то, панотче, – говорил глубокомысленно Сыч, наполняя медом ковш своего гостя, – недаром говорится: гора с горой не сойдется, а человек с человеком сойдутся. Кто бы мог гадать, кто бы мог думать, что мы с вами «спиткаемся» снова и когда? А вот же и свел Господь на храму за Днепром, после двадцати, а то и больше лет.

– Да, да, – отвечал, поглаживая бороду, священник, – во всем Десница Божия. Много воды уплыло. Ты из дьячка запорожцем стал, ге-ге, да ты и всегда был воинствующий... А помнишь, как мы с тобой в Золотареve наш колокол «боронылы»?

– Как не помнит! – вскрикнул шумно Сыч, – ух, распалилось с того дня у меня сердце на этих клятых панов! А потом с нашим батюшкой покойным Богданом...

– Да я и сам, – поправил волосы батюшка, – если б не было тогда пани матки да дробных деток, – ушел бы к нему, ей-ей, ушелбы!

– Ох, ох! И славное ж тогда было время, панотче, – стукнул в восторге Сыч ковшиком по скатерти, – ей-Богу, и душу свою отдал бы, чтоб снова так пожить, как тогда жилось! Вот седьмой уже десяток начинаю, а встань сейчас славный наш гетман Богдан Хмельницкий да крикни, как прежде: «Гей, хлопцы-молодцы, славни козаки запорожцы!» – орлом бы за ним полетел! – Лицо Сыча засияло, глаза вспыхнули. – А как вспомнишь, панотче, наши славные бои, – продолжал он с воодушевлением, – Пилявцы, Жовти Воды, Корсунь, – ей-Богу, от думки одной помолодеешь! А наши лыцари, Чарнота, Ганджа. Кривonos, Морозенко! Эх, что там считать! – махнул он рукой, – правда, что и Господу Богу нужны казацкие души, только, как подумаешь, что таким лыцарям пришлось умереть, так даже жалко станет, на какого ж беса ты сам остался на свете никому не нужным «шкарбаном»!

– Эх, дяче, мой дяче! – вздохнул батюшка, – теперь нам еще нужнее люди! Вон в оторванной нашей Левобережной Украине что творится? Как лиходействует Бруховецкий? Содом и Гоморра! – священник махнул с отвращением рукой и продолжал: – Слышал ли ты верно о том, что затевал гетман повсюду?

Сыч только молча кивнул головой.

– Мало ему было всяких мирских мерзостей, так он еще задумал отнять у нас митрополита. Да мы ему дорогу всю палками «загатым», а своего митрополита не отпустим! Наша митрополия первая на всей Руси. Что ж он хочет киевские святыни без митрополита оставить? Нельзя нам у чужих митрополитов в послушании быть. Царьградский патриарх один отец наш, его и послушаем.

Известие это вызвало целую бурю в сердце Сыча. Разговор перешел на современные темы, на низкие происки гетмана Бруховецкого, на ненависть к нему народа, на то, что пора бы «розирваний Украйни злучытыся на вики».

Потом Сыч передал о. Григорию странное и чудесное появление Мазепы.

– Да с чего бы это они его так замучили, ограбить хотели, что ли?

– Какое! Из слов его я понял, – закачал таинственно головой Сыч, – что как будто это дело из-за пани какой-то вышло, жены, что ли, того пана.

– Вот оно что, – протянул священник, – ну, а как думаешь, выходишь?

– Как Господь милосердный даст... Хотел вас просить, панотче, молитву над ним прочитать.

– Что ж, это можно хоть «зараз», – согласился священник.

VII

Собеседники поднялись и направились к хате. Они застали Галину у изголовья больного. Усталая, измученная своим тревожным состоянием, она задремала, сидя над больным, и только тогда открыла глаза, когда Сыч ласково дотронулся до ее плеча. При виде о. Григория Галина смешалась. Сыч подвел ее под благословение к батюшке и затем сказал: «Поищи, дытыно, бабу и Орысю, пусть приготовят все, что нужно, да идут сюда: панотец отслужит над ним акафист с водосвятием, – может, Господь ему сил прибавит».

Галина выбежала из хаты; она обошла двор, пекарню, клуню и нигде не нашла Орысю; но, проходя через садик, она вдруг наткнулась на странную картину: под густой вишней стояла Орыся, только не одна, а обнявшись с высоким, статным, «чернявым» казаком; они о чем-то, видимо, говорили, но при виде Галины вдруг замолчали и сразу же отскочили друг от друга, а Орыся покраснела вся, как маковка. Галина изумилась: чем могла она испугать так Орысю и высокого казака? Подойдя к Орысе, она приветливо поклонилась казаку и попросила Орысю скорее к батюшке. Дорогой она спросила у Орыси небрежно:

– Это брат твой? При этих словах Орыся покраснела еще больше.

– Нет, – произнесла она, опуская глаза, – это казак из нашего села, Остап Глевченко.

– А-а! – протянула Галина, – ты его так любишь? Вся красная и смущенная, Орыся с изумлением взглянула в лицо своей подруги; но Галина, по-видимому, не понимала ее смущения.

– Ну, да, я подумала, что ты его любишь, – пояснила она свою мысль, – потому, что ты так обнимала его!

– Галинко, сестрычко моя! – вскрикнула Орыся, бросаясь к ней с восторгом на шею, – не проболтайся только никому о том, что ты видела, что ты знаешь!

– Нет, нет! Только что ж ты боишься? Разве любить грех?

– Дытыночка моя родная! – поцеловала ее еще горячее Орыся, – не грех, нет... А только подожди, все ты узнаешь...

Батюшка отслужил акафист и освятил воду над головой больного; все усердно молились о ниспослании ему сил и здоровья. К вечеру действительно больному сделалось словно немного лучше, припадок «огневьщи» был значительно тише, больной не срывался с постели, а только стонал и сбрасывал рядом.

Отец Григорий кроме того освятил и на хуторе воду, исповедал всех и причастил, он всегда, приезжая сюда, брал с собой запасные дары. При отъезде он повторил еще раз Сычу: – Ты смотри, любый мой дяче, дочку привези к нам в село, не годится, чтобы дивчина дома Божьего до сей поры не видала, да и одичает она у тебя совсем!

– Боюсь я, панотче, ну, да если вы говорите, ваша воля, – согласился Сыч.

Прошел еще день после отъезда редких гостей, припадки больного делались все легче и слабее. У Сыча начинала пробуждаться надежда.

– Вот оно что значит Господня молитва! – повторял он, окидывая всех победоносным взглядом.

Однажды вечером, осматривая тело больного, Сыч позвал вдруг Галю громким и радостным голосом.

– А что там, диду? – подбежала к нему Галя.

– Смотри, смотри-ка, дытыно, – показал он ей обнаженную руку больного, – видишь вот эти пятна, помнишь, какие они красные были, а теперь посмотри!

Пятна действительно из ярко-красных стали бледно-розовыми, а в некоторых местах и совсем исчезли.

– Так-то, так-то оно бывает! – повторял Сыч, подымая и осматривая руку больного, и вдруг крикнул уже совсем весело, – ге, ге, ге! Да этак мы через «тыждень» гопака садить будем! Смотри, Галина, – указал он девчине на большие гнойные нарывы, образовавшиеся у больного под мышками, – вот как оно прорвет все, да как вытянет сюда всю «погань» из его тела, так уж совсем здоров будет.

Предсказание Сыча сбылось. С каждым днем больному становилось все лучше и лучше. «Огневцыя» его совсем прошла; он уже несколько раз открывал глаза, но казалось, не мог еще ничего сообразить. Сердце Гали готово было вырваться из груди от радости при каждом его движении, при каждом вздохе, при каждом проявлении пробуждающейся жизни. Наступило уже второе воскресение, после водворения Мазепы на диком хуторе.

Было ясное, летнее утро. Пообедавши рано, и баба, и работники улеглись по случаю праздничного дня спать, кто в клуне, кто в саду. В хате были только Сыч и Галина. Сыч сидел у окна с Евангелием в руках, разбирая с большим трудом по слогам крупные буквы. Галина молчала, прислушиваясь к непонятным для нее звукам. Вдруг в хате раздался чей-то слабый, неизвестный голос: «Где я?»

Сыч отложил книгу. Галина вздрогнула и занемела: этого голоса она еще не слыхала никогда, это был голос выздоравливающего.

– Где я? – повторил снова слабый, тихий голос. Сыч сделал знак Галине, чтоб она не трогалась с места, подошел тихо к больному и произнес, стараясь как можно больше смягчить свой голос:

– На хуторе, у добрых людей.

– Что со мною? – продолжал снова больной.

– Ты был болен, тебе надо лежать тихо, чтоб скорей поправиться.

– Как я попал сюда?

– Узнаешь, друже, потом, а теперь молчи, нельзя тебе говорить. Господь милосердный поправил тебя, вот заснешь, окрепнешь еще, тогда все расскажу.

– Хорошо, – произнес усталым голосом больной, – я засну. – Он закрыл глаза. Сыч хотел уже отойти в сторону, как вдруг веки больного снова поднялись.

– Я засну, старик, – произнес он с трудом, – только ты скажи мне одно, когда я лежал здесь, сидел ли у моего изголовья светлый ангел, или это мне пригрезилось во сне?

– Ха-ха-ха! – засмеялся Сыч. – Где нам, грешным, с ангелами знаться! Это, верно, внучка моя была... Галина! – окликнул он девчину, – поди-ка сюда.

Как ни ждала выздоровления больного Галина, но теперь какая-то непонятная робость охватила ее. Опустивши глаза, несмело подошла она к Сычу и с замиранием сердца подняла глаза на больного.

По лицу Мазепы разлилась слабая краска.

– Ангел, ангел Божий! – вскрикнул он с восторгом, протягивая к ней руки, но здесь силы оставили его, глаза его закрылись, а голова в изнеможении упала на подушки.

Обморок больного испугал было Галину; ей показалось, что с ним начинается снова страшный припадок, но дед успокоил ее.

– Нет, нет, дытышко, – произнес он тихо, укладывая и укрывая больного, – не бойся, теперь уже все на лад пойдет, будет он силами наливаясь, как молодая почка на деревце.

Действительно (этого дня выздоровление больного начало подвигаться быстро вперед. Однако слабость его была еще так сильна, что он утомлялся от самого короткого разговора, да дед ему и не позволял много говорить.

– Спи, спи только, – повторял он ему, – да ешь добре, а потом уж «набалакаемся». Но больной и не нуждался в этом приглашении: он спал почти целые дни, просыпаясь только для того, чтобы съесть приготовленную ему пищу. Открывая глаза, он сейчас же искал взглядом

Галину и, при виде ее, лицо его прояснялось. Как ребенок, съедал он пищу, которую она подавала ему, и, утомленный этой ничтожной затратой сил, опускался на подушки и закрывал глаза.

– Видишь, дытыно, вот когда он, светлый сон, пришел, – говорил Галине дед, указывая на бледное, но спокойное лицо больного, на устах которого, казалось, бродила во сне какая-то тихая, светлая улыбка.

Мало-помалу взбаламученная жизнь на хуторе приняла свое обычное течение. Убедившись в полной безопасности больного, Сыч начал по-прежнему уходить с рабочими в поле, оставляя больного на попечение бабы и Галины. Так как сидеть подле него неотлучно не представлялось уже теперь надобности, то и Галина мало-помалу возвратилась к своим обычным занятиям: то она кормила своих забытых друзей – кур, уток и белых и серых голубей, сбегавшихся и слетавшихся при ее появлении отовсюду, то поила теплым пойлом свою любимую корову Лыску, остававшуюся теперь с маленьким теленком дома. При появлении Галины во дворе с большой миской в руках, – все устремлялось к ней навстречу. Радостный вой, визг и гоготанье раздавались со всех сторон двора, куры сбегались с громким кудахтаньем, утки торопились, переваливаясь поспешно с одной ножки на другую, голуби, восседавшие на клунях, слетались и окружали ее, усаживались ей на плечи, несмело выхватывали зерна из самой миски, собаки с радостным лаем прыгали вокруг, небольшие, черные, косолапые щенки с пискливым визгом цеплялись ей за ноги, настойчиво требуя, чтобы она взяла их на руки, а из-под навеса раздавался протяжный рев Лыски, напоминавшей Галине о своем существовании. Окруженная этими любящими, ждущими ласки рабами, Галина чувствовала себя королевой. Раздавая всем пищу, она строго наблюдала, чтобы всякий получал свою долю, особенно приходилось ей отбиваться от голубей, окружавших ее целой тучей. – Тише, тише вы, прожоры! – отмахивалась она сверкающим на солнце расшитым рукавом своей сорочки, – всем хватит, никого не забуду!

Но маленькие, серые воришки не слушали ее. А когда, осажденная своими друзьями, Галина оглядывалась на окно хатки и замечала на себе пристальный взгляд больного, она сейчас же оставляла их и подбегала к нему, и спрашивала, не нужно ли ему чего?

– Нет, дивчино, – отвечал он слабым голосом, – мне так хорошо смотреть на тебя!

Впрочем и куры, и голуби, и сама ласковая Лыска не привлекали уже теперь Галину так, как прежде: большую часть времени она любила проводить на «прызби» у окна больного с тонкой мережкой в руках. Несколько раз больной порывался заговорить с нею, но Галина терялась, конфузилась и под каким-нибудь предлогом выходила сейчас же из хаты.

Прошла неделя. Однажды утром Сыч вошел в хату с высокой кружкой в руках и застал больного бодро сидящим на лавке.

– Ото, сынку, – вскрикнул весело Сыч, – ты, как я вижу, совсем у нас молодец. Вот только пей молочка побольше, да ешь по-запорожски, да это вот зелье, что я принес тебе, употребляй почаще, так мы эту проклятую хворобу через три дня в шею выгоним.

– Спасибо, спасибо, – улыбнулся больной, следя за энергичными движениями чубатого старика, – а вот что хотел я вас попросить, диду: нельзя ли мне «пидголыты» каким способом, вот это, – указал он на свои густо заросшие во время болезни щеки и подбородок.

– Можно, можно! Ишь ты чего заманулося! – вскрикнул шумно Сыч. – Ну, значит уже здоров, так, пожалуй, скоро и на коня запросишься, ей-Богу!

С этими словами Сыч открыл «скрыню», достал оттуда остро отточенный конец сабли и приступил к операции.

Через полчаса больной лежал уже чисто-начисто выбритый, в белой сорочке, с красной ленточкой у ворота, прикрепленной к рубашке Галиной.

– Фу ты, пожри меня огонь серный! Что значит молодое дело! – вскрикнул Сыч, отступая от больного и невольно любуясь им. – Вот только выбрил, а он тебе сразу и помолодел, и похорошел, словно месяц молодой, что дождем обмылся; а тут, – указал он на свои щеки, – хоть всю шкуру сдери, ничего не выйдет!.. Ну, а теперь изволь-ка выпить этого меда, – пододвинул

ему Сыч глиняную кружку. – Много уже ему лет, почитай вдвое больше, чем Галине, я его для дорогих гостей берег, да вот велел теперь внучке, чтоб она тебе каждый день эту кружку наливала, и ты чтоб выпивал всю до дна. Да пей, не бойся! – ободрял он больного, заметивши, что тот выпил всего два глотка, – мед ведь головы не трогает, только ноги, а они теперь у тебя «ледачи», так же служат, как бабе коса!

– Нет, спасибо, – ответил больной, опуская кружку на скамью, – за все спасибо, уж столько вы мне сделали... не знаю, удастся ли и отблагодарить когда.

– Какие там благодарности! – пробурчал Сыч, отворачиваясь в сторону, – нашел о чем говорить!

– Нет, нет, человек добрый, – возразил горячо больной, – до самой смерти вашу ласку помнить буду. Вы меня от самой лютой смерти спасли, только как, каким образом, до сих пор не разберу и не знаю!

– Да так, очень просто: сидели мы тут, а приехали ко мне Ханенко, да Гуляницкий, да Палий еще был с ними, такой казарлюга ловкий да горячий, словно огонь!.. Да еще Богун.

– Богун? – изумился больной, – полковник гетмана Богдана?

– Ну да, и побратим моего покойного зятя. Так вот сидим мы в саду, только слышим у речки вдруг что-то шлепнулось с размаха в воду, словно большой сом вскинулся...

И Сыч рассказал подробно больному о том, как они нашли его привязанным к лошади без чувств, без дыхания. Как он пролежал долго, почти при смерти, и как, наконец, пришел в первый раз в себя. Больной слушал этот рассказ с хмурым, угрюмым лицом: последний, видимо, пробудил в нем какие-то мучительные воспоминанья.

VIII

– Да где же я теперь? – спросил больной изумленно, когда Сыч замолчал.

– На хуторе, у меня.

– А хутор ваш где, старче Божий?

– Ге-ге! В самой дикой степи.

– В дикой степи? – даже приподнялся на локте больной, – да ведь это значит от Белой Церкви...

– Дня четыре, а то и пять езды, не меньше, если жалеть хоть трохи скотину; только ты, сынку, кажется, об этом не думал, – перебил его, улыбаясь, Сыч. Но больной не заметил его шуточки.

– Дня четыре, не меньше, – проговорил он в раздумье, – что ж, это значит, ваш хутор почти у самого Запорожья?

– Почти не почти, а за день до Днепра, а за другой до Хортицы лодкой доехать можно. И туда, как говорят люди, – далеко, и сюда не близко. Видишь ли, хутор мой затерялся в этой степи, как «волошка» в жите. Куда ни кинь, все далеко; если ты начнешь его нарочно искать, никогда не найдешь! Это я сам такое место выбрал, чтоб ни лях, ни москаль, ни татарин меня не трогали и не знали: я сам себе и пан, и гетман!

– Да кто же вы такой сами, диду любый? Скажите мне і хоть, как звать вас, как величать, чтобы знал, за кого молиться Господу милосердному?

– Ну, прозвище мое не от панского колена идет, – Сычом зовут люди, я из казацкого герба «Шыбай-головы». Ха, ха! Ты, может, не слыхал о таком гербе, – есть, есть, ей-Богу, его установил наш батько «зайшлий» Богдан.

– Богдан Хмельницкий? Вы служили при нем?

– В его собственной Чигиринской сотне. Мы с ним, видишь ли, соседи были. Эх, золотое было у него сердце, царствие ему небесное! Жаловал и меня, и дочку мою, покойную Оксану. Когда я из Золотарева на Сечь бежал, – вышла там одна такая закарлючка, – взял он ее, дочку мою, мать вот этой Галины, внучки моей, к себе в дом, как свою родную, и воспитал, да за своего же названного сына, полковника Морозенка, и замуж выдал.

– За полковника Морозенка, за того славного Морозенка, о котором поют песни «по оба пол» Днепра? – вскрикнул в изумлении больной.

– Да, за того самого, он еще, гетман наш «зайшлий», и крестным отцом у Галины был.

– Так, значит, Галина дочь славного Морозенка и тут одна в дикой степи на хуторе... Без всякого «цвеченья»! – заговорил взволнованно больной и вдруг сразу оборвал свою речь. Наступила маленькая пауза.

– Дивишься ты тому, что внучка моя здесь без всякого «цвеченья» на хуторе растет, – заговорил Сыч угрюмо. – Что ж, и сам я об этом думал, только размышляю себе так: Господу Богу лучше всего простотой угодить можно, а не злохитрой, латинской, дьявольской наукой. Наукою ум искусишь, а душу погубишь. Как умерли ее «батьки», осталась она у меня маленькой сиротой на руках; взял я, продал все и отправился с нею в «дыки поля»: думаю, и ее душу уберегу, и сам уйду от зла, ибо сказано: «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», потому что там в городах, – такое поднялось после смерти батька Богдана, что и не разберешь, ей Богу, кто гетман, кто прав, кто виноват. А я уж стар стал, саблей служить не могу, да и разумом своим не больно «метыкую», ну, подумал: «уйди, лучше, Сыче, от злая и сотворишь благая», Ох, ох, ох! И все поднялось с тех пор, как не стало его, гетмана нашего, славного Богдана Хмельницкого! – Сыч глубоко вздохнул и опустил голову на грудь.

– Да, да, – произнес задумчиво больной, – крепко его рука держала булаву, из такой руки не пришло бы никому и на ум вырывать ее, а как досталась она Юрасю Хмельницкому, ну и

пошла скакать, словно детский мяч, не одного и по голове задела. Для гетманской булавы одной отваги мало, надо крепкую руку и светлый разум! Теперь уже не те часы, чтобы только бить, да «на капусту локшыть», надо уметь свой челнок и между скал и порогов провесть; в полуюто воду можно и напрямик, а когда вода спадет – зорко смотри, да выбирай хоть извилистый, да верный путь...

– Ну, да и ловко ж ты говоришь, сыну, вот, ей-Богу, словно батько наш покойный Богдан; говорит себе да говорит старшина, слушаешь и ничего не разбираешь, а он тебе одно слово скажет, так ровно перед глазами все тебе намалует.

– Да, гетман был великий муж, зело искушенный и в науках, и в брани. Как закрою глаза, так вот словно живого его вижу. – И больной действительно закрыл глаза, словно хотел вызвать перед собой какой-то далекий образ.

– А ты разве видел его? – изумился Сыч.

– Да, давно, я еще тогда совсем молодым хлопцем был, даже губа верхняя не чернела; учился я тогда в Киевской Братской академии, а когда гетман после Зборовского мира въезжал в Киев, так нас у ворот Софийских поставили и мы ему виршу торжественную пропели, он еще меня особо отличил, я ему слово на «вступ на трон Киево-Владимирский» прочитал.

– Хе-хе! Значит, пожалуй, и я тебя тогда видел... Ишь ты, какое дело! А мог ли подумать, что вот как приведется встретиться снова. Воистину пути Господни! Ну, а позволь же теперь, не во гнев тебе, казаче, спросить, как же тебя звать, величать?

– Меня зовут Иваном Мазепой, я сын Степана Мазепы, подчасего Черниговского, из села Мазепинец.

– Мазепа! Вот кого привел Бог в своей хате витать! – вскрикнул радостно Сыч. – Ты как-то в бреду произнес... Эге! Так вот про кого говорил Ханенко. Как же, знаю, знаю, и батька твоего знавал, и Мазепинцы знаю! Это недалеко от Белой Церкви, хорошее место. Так, так! Оттуда и батько твой приезжал к гетману, когда мы там табором стояли. Эх, «запальный» был! Все не хотел к Москве прилучаться, с Выговским был за одно... Наш был и телом и душой, от казаков не отступал, нет!

– Мой дед, отец отца моего, вместе с Лабодой, с Наливайком да с Косинским, за волю нашу бился и казнен был ляхами в Варшаве. Наш род от князей Булыч-Курцевичей идет, – произнес с некоторой гордостью Мазепа, – но никто из нас не изменял до сих пор, подобно князьям Вишневецким, ни вере своей, ни воле казацкой.

– Что ты, Господь с тобой! Нашел себя с кем сравнивать? – даже отшатнулся от Мазепы Сыч. – Мазеп всяк знает. И отца твоего, и деда! Сразу ты нам, Казаче, полюбился, а теперь, когда узнал я, что ты хоть родовытый, да наш и душой, и сердцем, так будем мы уже тебя, как око, беречь, – вот что!

– Спасибо, спасибо, – улыбнулся больной на шумный восторг Сыча, – а что «родовытый», это не беда, если бы все наши «родовыты» к нам прилучились, не дошли бы мы, может быть, до такой беды.

– Ну, это кто его знает, – произнес уклончиво Сыч, – вот и наша старшина, говорят, начинает облагать кой-где народ повинностями.

– А гетман на что? Гетман на то и выбирается, чтоб всюду лад давать.

– Так-то оно так, – произнес задумчиво Сыч. – Ну, постой, а: ты ж где теперь служишь? У Бруховецкого или у Дорошенка?

– Ни тут ни там покуда. Видите ли, когда окончил я курс в Братской академии, тогда, – да вы это верно сами знаете, – гетман Богдан отправлял в Варшаву знатнейших юношей, чтобы служили при короле, так было сказано в мировых «пактах», выбрали и меня. Так я окончил у иезуитов философию, а потом послал меня король еще на три года в чужие земли, чтобы я еще и там поучился.

– Ге, ге! Высоко ты занесся разумом! Значит, как говорят люди, и «друкованый», и «письменный».

– Помог Господь.

– Ну и что ж, остался служить при короле?

– Служил, пока верил, что король нам добра желает, что с ляхами еще можно в «добрий злагоди» жить, а как увидел я, что не думают они нам никаких прав давать, что права пишутся только в «пактах», чтоб заманить нас ими, да вернуть назад оторванные земли, а в душе-то они нас за «быдло», за хлопов, за рабов своих по-прежнему почитают; а наипаче, когда увидел я, как во время похода короля на левый берег расправлялись королевские войска, с помощью этого лядского прислужника, этого лядского Тетери, с нашим православным народом, – вскрикнул горячо Мазепа и глаза его засверкали, а на щеках вспыхнул слабый румянец, – о, когда я все это увидел и уразумел, что в них, в этих золоченых гербах, нет ни силы, ни прежней доблести, а только злоба и презрение к нам, что они стараются только обессилить нас, чтобы опять обратить в своих рабов, – я не говорю о простых людях ляхах, о мазурах: они тут ни при чем, – о, тогда я поклялся навсегда оставить их, я поклялся отрубить себе эту правую руку, если она подпишет какой-нибудь договор с ляхами!

– Добре, казаче, добре! – вскрикнул восторженно Сыч. – Правдивое твое слово. С ляхами нам никогда не ужиться! Пускай себе тот «мальованый» Ханенко что хочет говорит, а я свое старое твержу: никто из нас того не забудет, что ляхи «батькив» наших в ярмо запрягали!

– Да, – продолжал возбужденно Мазепа, – только тот может понять их, кто жил с ними вот так, день за днем, как я, перед кем они не скрывали своих мыслей, кто сам по себе испытал их вольности и права!

– Да годи, годи, не вспоминай старого, «цур йому и пек», – попробовал остановить Мазепу Сыч. – Лучше скажи, что же ты думаешь дальше? К кому пойдешь?

– Пока еще не знаю. Вернулся на Украину, чтобы служить ей головой, рукой и сердцем; вижу уже много горя, а куда повернуть, еще не знаю; думаю присмотреться да разузнать все, где будет счастье отчизны, – там буду и я.

– Эх, сынку! Да и любо ж мне слушать тебя, вот словно сам оживаю и молодею! Не напрасно, видно, тебя Господь спас от такой лютой смерти, может, от тебя и спасенье нам всем будет. Ну, только, обожди: ишь, как покраснелся весь, – посмотрел он неодобрительно на вспыхнувшие щеки больного, на его гневно сжатые губы. – Ты теперь успокойся, засни. Да не вспоминай старого, говорю тебе. Вот я сейчас бабу и Галину потороплю, чтобы поскорее борщ готовили, а ты засни тем временем, да и я пойду, пока что, под «клунею» прилягу, на свежем сене, лучше, чем твой магнат на перине!

Сыч встал, оправил подушки больного и вышел из светлицы, старательно притворив за собою дверь.

В хате стало тихо; сквозь открытые окна смотрело яркое синее небо; видно было, как струился прозрачный раскаленный воздух; но в светлице не было жарко; степной аромат и тепло солнечных лучей вливались в окна широкими волнами, ласково согревая тело больного; от этого теплого, ароматного воздуха и от долгого разговора голова Мазепы слегка закружилась; он лежал, закрывши глаза, в легком полусонном забытии. Какие-то слабые мысли, словно легчайшие облачка в высоком небе, бродили и расплывались в его сознании. Давние образы и сцены, вызванные в его воображении разговором с Сычом, словно всплывали перед ним в каком-то колеблющемся тумане, но он не вызывал их, и они снова расплывались и исчезали в его причудливых волнах, он чувствовал, что ему надо думать, что в глубине его души шевелится какая-то мрачная, злобная мысль, но ему тяжело было нарушить сладостное чувство выздоровления и покоя, и он гнал эту мысль от себя. – Итак, спасен, вырван из рук смерти, – повторял он как-то лениво слова Сыча. – Старик говорит, не даром тебя Бог спас, может от тебя и всем нам спасенье будет... Что ж, – улыбнулся слабо больной, – если верить в предсказания,

Моисея Бог спас в корзинке, а меня на бешеном коне. Это, пожалуй, еще побольше, но все это пустое. Слава, почет, месть, любовь – все меркнет перед этим сознанием возможности; жизни. Ах, жить, жить, – повторил он слабым шепотом и открывши глаза, устремил их в сверкающую небесную синеву.

На дворе было тихо, иногда только раздавался крик петуха или веселое чирикание ласточки, свившей себе гнездо под окном. Не слышно было ни голоса Сыча, ни голосов рабочих, очевидно, все спали, согретые ласковым теплом летнего дня. Эта тишина производила усыпляющее впечатление и на Мазепу, ему казалось, что он лежит на дне какой-то легкой лодки и мягкие, теплые волны тихо колеблют ее... Мало-помалу веки его опустились, глаза сомкнулись, и легкий сладкий сон охватил все его существо.

Дверь в хату тихо скрипнула, на пороге показались баба и Галина с полными мисками в руках.

– Те... тише, – прошептала баба, оборачиваясь к Галине, – кажется, задремал он; ну, так мы вот поставим «страву» здесь на лаве, пускай выстынет немного, а ты посиди здесь, да посторожи, когда проснется он, тогда и поест.

С этими словами старуха осторожно подошла к лаве, поставила на нее миску, а затем сделала несколько шагов вперед и, подперши щеку рукой, остановилась недалеко от больного.

– Ну и красив же, ей-Богу, сколько живу на свете, не видала таких, – прошептала баба, указывая Галине глазами на лицо больного. – Смотри вот, побрил его дед, так он еще краше стал – просто малеванный, да и только!

Галина посмотрела вслед за ее взглядом на больного и тут только заметила перемену, происшедшую в Мазепе. Действительно, он был теперь изумительно красив. Подбритые кружком темные волосы спадали мягкими волнистыми прядями; высокий лоб, казалось, сверкал своей белизной; строго очерченные черты лица его носили на себе отпечаток ума и благородства, а мягкие нежные губы говорили словно о том, что они умеют так пылко целовать, что от поцелуев их кружатся у бедных женщин головы и зажигаются сердца.

– Разве уже нет другого такого? – перевела Галина вопросительный взгляд на бабу.

Баба даже махнула раздраженно рукой.

– Говорят тебе, малеванный, да и только! Дид кажет, что он важный пан, что у самого короля служил.

– Пан? – прошептала с ужасом Галина. – Нет, не может этого быть!

– Как не может быть? И дид говорит, да и так сразу видно. Да ты что, испугалась, что ли? – продолжала она с улыбкой, смотря на полное ужаса лицо Галины, – Э, не бойся! Теперь уже не те часы: теперь что пан, что казак – все равно. Смотри ж, подожди здесь, пока он проснется, а я пойду, сосну немножко. Ох, ох, ох!.. – зевнула она и перекрестила рот рукой. – Все она – доля людская: один и на гладкой дороге споткнется, а другой и в самой дикой степи спасется! – Старуха зевнула еще раз, еще раз перекрестила рот и вышла из хаты, а Галина опустилась на лавку у окошка.

Слова бабы взбудоражили все ее мысли. Неужели же этот хороший милый казак – пан, тот «пан», которого всегда так проклинают и дед, и запорожцы? Нет, нет, не может быть: те паны такие злые, такие страшные, а у него такие добрые глаза, такой ласковый голос! Нет, нет! – Галина подперла голову рукой и тихо задумалась.

Между тем веки больного приподнялись, взгляд его скользнул по комнате и остановился на фигуре девушки, приютившейся у окна, лицо его осветилось счастливой улыбкой; несколько минут он молча любовался ею. Обмотавши вокруг головы свои шелковистые, русые косы. Галина затянула в них две длинные ветки бледно-розовых цветов дикого шиповника. Этот нежный веночек удивительно шел к ее прозрачному личику. Во всей ее позе, в наклоне головы, в задумчиво устремленных в даль карих глазах было столько своеобразной грации и женственности, что нельзя было не залюбоваться ею. При виде ее опечаленного, задумчивого личика,

Мазепа почувствовал в своей душе прилив какой-то необычайной нежности к этому прелестному ребенку.

– О чем ты задумалась, Галина? – произнес он тихо.

При звуке его голоса Галина вздрогнула и страшно смешалась.

– Я принесла тебе обед, а ты спал, – произнесла она, запинаясь, – вот я и стала ждать, когда ты проснешься.

Она взяла миску в руки и хотела было нести ее к Мазепе, но он остановил ее.

– Нет, оставь еду, успею еще, подойди ко мне так.

– Может, не нравится? Так я что-нибудь другое... сыр, сметану, «яешню», – всполошилась Галина.

– Да нет же, нет, дитя мое, все хорошо. Только подойди сюда ко мне. Галина сделала несколько шагов и опять остановилась.

– Да подойди же ближе, вот сюда, сядь здесь, подле меня, – пододвинул ей Мазепа деревянный табурет.

С трудом преодолевая охватившее ее смущение, Галина опустилась на кончик табурета и, нагнувши голову, опустила глаза.

– Отчего ты не хочешь никогда говорить со мной, разве ты боишься меня? – продолжал Мазепа, любуясь слегка зардевшимися щеками прелестной девушки, – разве я такой страшный? Ведь ты же смотрела на меня, когда я был болен, – отчего же ты теперь, сейчас уходишь... не хочешь говорить? Несколько секунд Галина молчала, тяжело переводя дыхание.

– Отчего же, голубка моя? – повторил еще тише Мазепа, не сводя с ее загоревшегося смущением личика своих обаятельных глаз.

– Так... не знаю... – промолвила, наконец, Галина, словно давясь словами.

– Да ведь ты же, как сестра, не отходила от моего изголовья?.. Когда я боролся со смертью, я видел, как твое личико склонялось надо мной!

– Ох, как же было не сидеть, – вздохнула она, как вздыхают после горьких слез дети, когда налетевшая радость внезапно утешит их горе, – ни еды... ни сна... Господи, как боялись... день ли, ночь, – все только об одном... – Ангел ты мой хранитель! – воскликнул тронутый до глубины души Мазепа.

– Ой, ой! Как же так можно? – всплеснула руками Галина, – кто же людей ангелами зовет! – Это грех. Баба говорит, что ангелы с длинными белыми крыльями Господу служат.

– Тебя не грех назвать ангелом: у тебя сердце такое же чистое, и у души твоей есть крылья.

– Ты смеешься и надо мной, и над Богом, – промолвила грустно Галина.

– Не смеюсь, моя ясочка, клянусь тебе! – вскрикнул даже Мазепа, дотронувшись до ее руки.

Галина вздрогнула от неожиданности и с испугом подняла на него свои ясные, выразительные глаза. Этот взгляд смутил почему-то Мазепу; он начал поправлять на себе рядно, стараясь укрыться им поплотней.

– Может быть, холодно? – затревожилась Галина и вскочила с табурета. – Я сейчас закрою окна.

– Нет, не нужно, не нужно. Это я так... тут даже жарко.

– Ох, когда б не захватил ветер... – остановилась в нерешительности Галина.

– Господи! Какие вы люди! И не видал таких. Совсем чужой, а они так заботятся...

– Разве чужой ты! – воскликнула девушка, открыв впервые глаза, а потом, побледнев, опустила их и прибавила подавленным голосом тихо, – да, баба говорила... значит, и мы чужие... – Она отвернулась и поникла головой.

– Что ты говоришь, дитятко? Ты рассердилась?

– Я ничего!

Голос Галины дрожал; видно было, что какое-то горькое чувство, не понятное для Мазепы, взволновало ее.

– Да что же?.. Понять не могу... Что с тобой, расскажи!

Но Галина, не отвечая на вопрос Мазепы, быстро подошла к «мысnyку», взяла «кухоль» и подала его Мазепе.

– Пей, пане, мед... дид говорил, что он поднимет тебя скоро.

– Спасибо, спасибо! Только я не буду пить, если ты не скажешь.

Галина снова присела на кончик табурета; но лицо у нее было теперь печально. Мазепа отпил несколько глотков меду, поставил на пол «кухоль» и остановил задумчивый взор на этом чудном, взрослом ребенке.

IX

Галина молчала; видно было, что она хотела что-то сказать и не решалась; наконец, она спросила робко, запинаясь на каждом слове.

– Это, значит, правда, что ты пан?

Мазепа невольно улыбнулся.

– А если б и так, что ж тут такого страшного? Отчего это слово так пугает тебя?

– Паны нас не любят... они враги наши, – произнесла она слегка дрогнувшим голосом.

– Не все, не все, Галина, – попробовал было возразить Мазепа, но Галина продолжала, не слушая его.

– Нет, паны нас ненавидят и панов все ненавидят, все!

– Почему?

– А разве можно любить волков? Дид Сыч говорит, что и он сам, и гетман Богдан, и мой батько, и дядько Богун, и все казаки шли против панов, чтоб спасти от них бедных людей, потому что они мучили всех, кровь нашу пили! Вот искалечили Нимоту и Безуха, вот и тебя привязали к коню, каторжные, клятые!

У Галины даже проступили на длинных ресницах сверкающие слезинки; она зарделась вся от волнения.

– Нет, нет, Галина, ты не так говоришь, – взял ее за руку Мазепа, – то польские паны враги наши, то католики, а есть же у нас и свои паны, вот как бы значные казаки, свои, одной с нами веры и «думки». Они вместе с казаками и с гетманом Богданом воевали против лядских панов и ксендзов, что мучили и грабили наш народ. Мой дед бился рядом с Наливайком, а отец с Богданом Хмельницким и с твоим славным батьком, – за волю, за веру, за наш край!

– Господи! Так значит ты наш, наш? – вскрикнула Галина, подымая свои просиявшие глаза.

– Ваш, ваш, дитя мое, и сердцем и душой, – произнес тронутым голосом Мазепа, сжимая ее руку.

– Ой, «лелечки»! Значит, ты можешь любить и жаловать нас. Ой, Боженьку мой, как же это любо, как весело...

– Могу, могу и буду, дитя мое! – прервал ее восхищенный Мазепа, – а ты же не будешь теперь бояться меня?

– Нет, теперь нет! – засмеялась Галина.

– Ну, Расскажи-ка мне, как ты живешь здесь одна.

– Я не одна. Здесь живут еще дид мой Сыч, баба, Немота и Безух, – заговорила смелее Галина. – У меня есть еще подружка Орыся, только она не любит долго жить у нас: она говорит, что ей здесь «нудно», скучно, что здесь нет ни вечериц, ни казаков.

Мазепа улыбнулся.

– А тебе здесь не скучно, голубка?

– О, нет! – воскликнула оживленно Галина. – Здесь так хорошо! Кругом степь широкая, широкая... Ты никогда не видел степи? Когда ты выздоровеешь, я покажу тебе все, и речку. Ты видел нашу речку? Нет? Она такая прозрачная, тихая. Когда смотреть на солнце, так видно все дно, как рыба играет на нем... У меня есть челнок, я буду катать тебя; там плавают по воде широкое «латаття» и цветет... Такие большие белые цветы, такие красивые, серебристые... Русалки плетут себе из них венки... А птицы! Ты любишь птиц? В степи их так много! И дрофы, и «хохотва», и перепелки, и жаворонки, и кобчики, – поднимаются в небо, так и стоят, трепещутся на одном месте. Я поведу тебя в степь. Там есть высокая могила; когда взойдешь на нее, так видно все далеко, далеко кругом. И так тихо, тихо, только ветер шумит... Я люблю слушать его: он «лащтыся» и что-то шепчет. А цветы? Сколько там цветов есть! И мак, и

золотоцвет, и кашка, и волошки, и березка... Ты любишь их? – обратилась она к Мазепе и вдруг потупилась, застыдившись своей смелости.

– Все, все люблю! – ответил он с увлечением, любуясь ее прелестным личиком. – Ну, а зимой, когда занесет ваш хутор снегом, тогда не скучно тебе?

– Нет, – ответила уже тихо Галина, не подымая глаз. – Зимой мы работаем, прядем, а дид мне рассказывает о моем батке, о матери, о войнах, о «лыцарях»... А ты знаешь, как кричат дикие гуси? – оживилась она снова. – Нет? – Они так громко, громко кричат... Я люблю их... Знаешь, когда еще не настанет совсем весна, а так только теплом повеет с моря, все себе ждешь да думаешь, когда же настанет весна?.. И вдруг на рассвете услышишь, как гуси кричат, – вот тогда любо, вот весело станет! Это значит уже наверное весна идет, а после гусей летят журавли... они таким длинным, длинным ключом летят. Ты видел? Да? А за ними уточки, а там уже и деркачи, и кулики, и всякие другие птички. Налетит их много, много, шумят, хлопочут, кричат на речке у нас... Я бы хотела узнать, о чем это они все кричат, откуда они прилетели, что видели так далеко, далеко!..

– Милая дытынка моя, – улыбнулся и Мазепа, – а ты бы никогда не хотела уехать отсюда?

– Нет, – покачала головой Галина, – правда, мне бы хотелось знать, что там такое в тех городах, как там живут, кто там живет? Но... – произнесла она с легкой запинкой, – дид знает только про войну, а баба забыла все...

– А разве к вам никто не приезжает никогда?

– Иногда приезжают запорожцы, только очень редко... Да что ж... и они только про войну говорят.

– Бедная моя сиротка! – произнес ласково Мазепа. – Вот постой, я выздоровлю и расскажу тебе про все, про весь Божий свет, а ты расскажешь мне про себя, покажешь мне и речку, и степь, и все твое хозяйство. Галина молча кивнула головой.

– Я буду твоим братом, а ты моей маленькой дорогой сестричкой. Ты будешь любить меня, Галина?

– Буду, буду, – вскрикнула порывисто Галина, подымая на Мазепу свои засиявшие от счастья глаза.

От всего ее существа веяло в эту минуту такой детской чистотой, такой искренностью, что Мазепа почувствовал, как в груди его дрогнуло какое-то святое чувство.

– Милое, дорогое дитя мое! – произнес он взволнованным голосом и, чтобы скрыть охватившее его смущенье, он нагнулся к ее головке и спросил тихо: Какими это дивными цветами ты так изукрасилась?

– А это «шыпына»... Тебе нравится? Так я нарву сейчас... у нас ее много, много в гаю! – Галина вскочила и хотела было бежать в сад, но Мазепа удержал ее за руку.

– Нет, постой, не надо мне других цветов, – прошептал он тихим, усталым голосом, – останься здесь со мною: ты сама наилучший степной цветок, какой я встречал на своем веку!

С этого дня Галина перестала дичиться незнакомого пана-красавца, занесенного местью в их хутор и вырванного дедом из когтей смерти. Каждый день сближал их все больше и больше, закрепляя дружеские отношения каким-то родственным чувством. Ухаживать за больным, угадывать его малейшие желания, показывать ему всеми способами свою преданность – сделалось для Галины потребностью жизни. Она не понимала, да и не могла понять, сожаление ли к больному, или какое-нибудь другое чувство побуждает ее к этому, она отдавалась своему сердечному порыву без отчета, без раздумья, как отдается течению тихих вод юный пловец, не испытывавший еще ни бурь, ни подводных камней. Однообразная, будничная жизнь на лоне природы, протекавшая прежде незаметно, сделалась вдруг каким-то праздником светозарным, наполнившим ее сердце жизнерадостным трепетом, а душу гармонией чарующих звуков: и эта безбрежная, волнующаяся степь, и это бездонное синее небо, и это ласковое, смотрящее в светлую речку солнышко, и эти ликующие звуки жизни – все теперь для нее получило новую

окраску, новый смысл, новое значение... Было у нее прежде много друзей и между пернатым населением хутора, и между четвероногими, и между людьми, но та дружба была спокойна, не похожа на эту, те друзья были безмятежны, а этот... Этот наполнил собой весь ее мир, все ее думы, все ее желанья: она чувствовала его в каждом ударе своего пульса. Прежде, бывало, заснет она безмятежным сном, проснется без тревоги, без заботы, а с ощущением лишь сладости бытия, и бежит встретить утро, умыться студеной водой, поздороваться со своими любимцами, а теперь она засыпает с мыслью о нем, просыпается с заботой о нем, с тревогой о нем. Встанет и бежит в садик нарвать со своих гряд лучших душистых цветов, так как он очень их любит, нарвать и поставить этот букет в «глечык», а баба уже несет ей другой с парным молоком и миску пирогов, либо кулиш на раковой юшке, либо кныши с укропом, – и, нагруженная всем этим, Галина спешит к своему другу, к своему братику... А он тоже ждет – не дожидется своей сестрички, и глаза его играют сказанной лаской, а прекрасное лицо светится счастливой улыбкой. А то после «сниданку» побежит она еще в рощу, нарвать земляники или спелых вишен в своем садике – и все это несет своему больному. Теперь уже он сидит и пробует даже ходить по хате; теперь уже и она не боится болтать с ним и рассказывать ему про все, про все, что взбредет ей на ум, что подскажет ей сердце, рассказывает почти так же откровенно, как и своей подруге Орысе: о своем детстве, о разных происшествиях в хуторке, о деде, о бабе, о прибытии Немо́ты, и о первом знакомстве с Орысей. Мазепа слушал ее с большим вниманием и с большим участием, чем Орыся, и сам рассказывал ей обо всем, обо всем, что ему довелось видеть: и о дремучих лесах, и о высоких горах, и о недоступных крепостях, и о многолюдных роскошных городах, и о чужих землях, и о всяких чудесах на широком свете; рассказывал и о своем детстве, и о своей матери, любящей его больше жизни, – о ее светлом уме и твердой воле; говорил с чувством и о своем покойном отце, сколько довелось тому пережить на своем веку и напастей, и горя; как он не смог перенести обиды от шляхтича и убил его, и как за эту смерть он был предан «баниции», т. е. лишен всех прав, даже права жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.